



Стилевая энергия эпиграмм А.Н. Майкова

П.А. ГАПОНЕНКО,

кандидат филологических наук

В обширном и многообразном творческом наследии А.Н. Майкова представлен и жанр эпиграммы, к которому поэт обращался на протяжении всей жизни. Его жалающие и гневные строки отличались злободневностью, точностью словесного выражения, лаконичностью и ёмкостью характеристик персонажей.

Будучи ревностным защитником “твёрдой” монархической власти, Майков тем не менее не мог не ощущать, в каком тяжелейшем положении оказалась Россия в последние годы николаевского правления. Однако причину злоупотреблений в стране он видел лишь во влиянии на царя продажных, нерадивых чиновников. В черновиках поэмы “Сны” (1858) находим выразительную запись:

Как слуги царские от рвенья куролесят –
Царь скажет – побрани – а глядь – они повесят!

(Майков А.Н. Избр. произведения. Л., 1977. С. 877; далее – только стр.).

Поэтому Майков направлял сатирические стрелы преимущественно против презирающих свой народ и родину чиновников-бюрократов, ставящих себя “превыше всех законов”. Поэт высмеивал также аристократов, дворянскую элиту за утрату ими нравственной физиономии, за отрыв от чаяний народа и полнейшее равнодушие к его судьбе:

Бездарных несколько семей
Путём богатства и поклонов
Владеет родиной моей.

Стоят превыше всех законов,
 Стеной стоят вокруг царя,
 Как мопсы жадные и злые,
 И простодушно говоря:
 “Ведь только мы и есть Россия!” (666)

Эти смелые строки явились откликом Майкова на поражение России в Крымской войне 1853–1856 годов.

Одна из эпиграмм обращена, по-видимому, к Николаю I и написана в связи с получившими широкую огласку злоупотреблениями высших царских сановников: взяточничеством, казнокрадством, подкупами. Автор предлагает казнить за воровство “торговой казнью” (таковая происходила на Красной площади в Москве до 1685 года и состояла в публичном наказании кнутом).

С народом говори, не сдержанный боязнью
 Придворных развратить, а паче же всего
 Чиновников. О царь, начни за воровство
 На Красной площади казнить торговой казнью. (665–666)

В язвительном и метком четверостишии Майков заклеил министра внутренних дел П.А. Валуева, в ведении которого находилось Главное управление по делам печати. В период создания эпиграммы (между 1864 и 1866) отношения Майкова и Валуева были весьма напряжёнными. Причин для этого было предостаточно. Министр был недоволен публикацией майковского стихотворения “Другу Илье Ильичу”, вызвавшего смятение в высших цензурных инстанциях, воспринявших четверостишие как пасквиль на Александра II. К тому же в адресате эпиграммы угадывались некоторые черты самого Валуева. Срывая с министра маску напускной важности и глубокомыслия, поэт рисует его реальный облик:

Мысли – тени ни малейшей,
 Но как важен, светел он!
 Это – пошлости полнейшей
 Министерский Аполлон! (668)

Объектом сатирических нападок Майкова стали откровенные реакционеры А.И. Красовский, председатель Комитета иностранной цензуры, под началом которого поэт исполнял обязанности младшего цензора, и М.Р. Шидловский, начальник Главного управления по делам печати в 1870–1871 годах, считавший, что литература и печать служат “для забавы”; в бытность свою тульским губернатором явился прототипом щедринского градоначальника с “органчиком” в голове (“История од-

ного города”). В архиве Майкова сохранилось стихотворение, в котором содержится убийственный портрет Красовского: “Но тут встаёт как демон злой/Муж с конской мордою, с улыбкою бесовской / И вислоухий, как осёл” (865).

В эпиграмме же эти поразительно зримые детали внешнего облика персонажа исчезают. Поэт прибегает к своеобразному приёму – ссылке на пушкинский эпиграмматический “прецедент”. В ряде эпиграмм – “Любопытный”, “Тимковский царствовал – и все твердили вслух...”, “Как сатирой безымянной...” – Пушкин своего тупого, незадачливого оппонента называл не иначе, как “грубым” просторечным словом *дурак*.

Читаем майковскую эпиграмму:

У Музы тяжкая рука.
Вот Пушкин дураком лишь назвал дурака –
Да так и умер с тем Красовский.
Какой тебе урок. Шидловский! (669)

Сложным было отношение Майкова к Николаю I – от непомерного восхищения до глубокого разочарования. В печально известном стихотворении “Коляска” (1854) прозвучал панегирик царствующей особе. Общественное мнение было возмущено. Н.Ф. Щербина ответил на эти стихи убийственными эпиграммами, окрестив Майкова прозвищем “Аполлон Коляскин”. Поэт, однако, пропел гимн царю не из лести и угодничества, а вследствие ложных убеждений: могущество России он отождествил с властью самодержца. Прошёл год после написания “Коляски”, и в беседе с Я.П. Полонским он самокритично признался: “Я был просто дурак, когда видел что-то великое в Николае. Это была моя глупость, но не подлость” (Ямпольский И.Г. Из архива А.Н. Майкова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1974 год. Л., 1976. С. 42). Ещё позже, 15 сентября 1861 года, характеризует положение послереформенной России, Майков писал М.Н. Каткову: “Мы чуть-чуть что (не) на точке поворота назад... всё, что было зло на новое, что только носило маску либерализма, поспешило вдруг проявиться во всём блеске николаевщины; во всём и везде видны заговоры, словом, обычное тупоумие выплывает теперь на всех ступенях общества, и науке и свободному развитию мысли предстоит, вероятно, новое гонение...” (859).

В некоторых стихотворениях, не предназначенных для печати или подвергнутых цензурному вмешательству, а также в письмах Майков критически отзывался о Николае I и его царствовании. Таковы эпиграмматические строки, записанные в черновой тетради 1855–1856 годов, очевидно уже после смерти царя:

Я вижу трудовых сподвижников Петра,
 За ними следуют орлы Екатерины.
 Там александровских встречаю генералов.
 От Николая же времён
 Ряд николаевских остался лишь капралов. (858)

К Петру I отношение Майкова отличалось последовательностью и всегда было положительным. Он считал Петра великим государственным деятелем и не соглашался со славянофилами, отрицавшими прогрессивное значение петровских реформ (“Кто он?”, “Сказание о Петре Великом в преданиях Северного края”).

7 марта 1868 года Майков писал Ф.М. Достоевскому: “...мы все будем гордиться Петром, простив ему кое-что...” (Достоевский Ф.М. Письма: В 4 т. М.-Л., 1930. Т. 2. С. 416). И ещё – на этот раз в письме к жене (1880): “...Признаю гений Петра и необходимость его реформ...” (Лит. наследство. 1973. Т. 86. С. 508).

В 1872 году к двухсотлетию со дня рождения Петра I и столетию со дня открытия в Петербурге “Медного всадника” Майков написал:

Как ни шатай – не пошатнуть!
 Пускай вражда кругом клокочет,
 Она, в его ударясь грудь,
 Как мяч резиновый отскочит. (672)

Мастерство Майкова-эпиграммиста проявилось в созданной им сатирической портретной галерее литераторов. В поле его зрения попали многие собраты по перу – Н.А. Некрасов, Д.В. Григорович, Д.В. Аверкиев, А.К. Толстой, Н.Ф. Щербина, литературные критики И.И. Львовский, В.Р. Зотов. Иногда в своих стихотворных выпадах поэт допускал передержки и перехлёсты. Он, например, не смог по достоинству оценить новаторского характера поэмы А.К. Толстого “Иоанн Дамаскин”, в основе которой – житие христианского богослова и автора церковных песнопений Иоанна из Дамаска. Опираясь на источник, Толстой сознательно отодвинул на второй план чисто религиозные мотивы и придал большее значение, чем в житии, теме поэта и поэтического творчества. Центральная идея поэмы – свобода поэтического слова, независимость художника – имела автобиографическую подоплёку. Выразилось желание Толстого освободиться от службы при дворе, его стремление быть “вполне художником”. Майков в своей эпиграмме осуждал, по существу, не промахи Толстого, а свойства его дарования.

Вот Дамаскин Алексея Толстого – за автора больно!
 Сколько погублено красок и черт вдохновенных
 задаром.

Свёл житие он на что? На протест за “свободное
слово”
Против цензуры, и вышел памфлет вместо чудной
легенды.
Всё оттого, что *лица говорящего* он не видал пред
собою... (671)

В архиве Майкова сохранилась следующая запись: “Всегда я чувствовал фальшь в пьесах из старой русской жизни Алексея Толстого, в его балладах, былинах и пр. (...) Смесь архаизмов с новейшим великорусским ухарством (чего нет в подлинных былинах олонецких). (...) он ещё написал их все с рифмами, да ещё с какими – самыми неожиданными, шегольскими” (866).

Запись эта, как и только что процитированная эпиграмма, свидетельствует о вкусовых пристрастиях Майкова: отмеченные им “погрешности” Толстого были скорее не недостатками, а приметам таланта с “лица необщим выраженьем”.

Пристрастие Д.В. Григоровича к сочинительству всякого рода невероятных историй не осталось без внимания Майкова. Как явствует из письма к нему И.А. Гончарова (от 11 апреля 1859 года), о Григоровиче носились “сомнительные слухи”. “Признаюсь, – замечает Гончаров, – я с унынием услышал о назначении его к великому князю: он огадит перед великим князем не только литераторов, но и всю литературу, во-1-х, уронит своей особой, а во-2-х, наврёт, насплетничает” (Гончаров И.А. Собр. соч.: В.8 т. М., 1955. Т. 8. С. 316).

Нелестное мнение о Григоровиче разделял и Майков. Вот его эпиграмма на этот счёт:

Видал ли ты на небесах комету?
Видал ли ты, как хвост её поймал
И, привязав к нему свою карету,
Езжал один известный генерал?
Народу что сбежалось – о мой боже!
Видал ли ты? – Нет, не видал. – Я тоже,
А Григорович так видал. (666)

Комический эффект, с каким подаётся “персонаж” эпиграммы, усилен многократным повторением глагола *видал* и укороченной (тем самым выделенной) последней строкой, захватывающей наше внимание.

Некоторые эпиграммы Майкова были откликом на первые выступления русских символистов. Прослеживается их связь с известными пародиями В.С. Соловьёва (см.: Соловьёв Владимир. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 164–166). Майкову чужда и враждебна изысканность и манерное изящество представителей русского симво-

лизма. Он не приемлет их принципов поэтической изобразительности, поэтического иносказания, когда слова теряют своё обычное прямое значение и употребляются в значении переносном и расширительном, когда художественный образ оказывается и образом иносказания.

У декадентов всё, что там ни говори,
 Как бы навыворот, – пример тому свидетель:
 Он *видел* музыку; он *слышал* блеск зари;
 Он обонял звезду; он щупал добродетель. (672)

Индивидуализм и субъективизм раннесимволистской поэзии, вульгарность и натурализм, фантастичность образов – всё это не находит у Майкова ни малейшего сочувствия и остроумно им высмеивается:

В степи *поёт* заря. Река *мечтает* кровью.
 Бесчеловечно по небесам любовью
 Трещит душа по швам. Озлобился Ваал.
 Он душу за ноги хватает. Снова в море
 Искать Америку пошёл Колумб. Устал.
 Когда же стук земли о гроб прикончит горе? (672)

Будущие представители русского декаданса, такие как Н.М. Минский и Д.С. Мережковский, начинали свой поэтический путь как эпигоны гражданской поэзии. Но очень скоро “увлечения юности” проходили. По всей вероятности, Минскому, выпустившему в 1883 и 1887 годах первые поэтические сборники, адресована майковская эпиграмма:

В вас есть талант – какой тут спор!
 Но, чтобы свет ему увидеть,
 Пошли, Господь, весь этот вздор,
 Что вы писали до сих пор,
 Вам поскорей возненавидеть! (671)

Определённый интерес представляет эпиграмма, в которой выражено отношение Майкова к “академической” науке. Поэт всегда доброжелательно и с должным почтением относился к “мужам науки”, среди которых у него было много близких друзей. Однако, когда дело касалось оценок ими поэтических явлений, то тут Майков уже скептически относился к их суждениям. Так, он неоднократно сетовал на недостаточно, как ему казалось, объективную оценку его поэмы “Два мира”, за которую его удостоили Пушкинской премии. “Дали мне премию, – писал он в одной из недатированных заметок, – и огорчили меня, поставили христиан ниже язычников, – или прочесть не умели академики? – в отзыве своём повторив банальное обо мне суждение, что, мол, *реставратор древнего мира...*” (854).

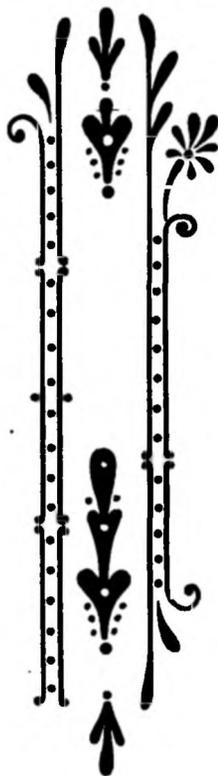
О том же, в сущности, – эпиграмма:

Почётным членом избирает
Меня словесный факультет –
И в ваш почтенный круг вступает,
Вам низко кланяясь, поэт.
Всё, что в науку вашу входит,
И вас самих он чтит всегда, –
Не понимает лишь, когда
Речь о поэзии заходит. (670)

Эпиграммы Майкова отмечены необычной страстностью, внутренней энергией, бескомпромиссностью оценок тех явлений жизни, которые оскорбляли его гражданское и нравственное достоинство. Велик их сатирический диапазон – от остроумной насмешки, лукавой шутки, глубокой иронии и сарказма до грозной эпиграммы – инвективы. В них мы не найдём сложных “украшающих” приёмов. Основными художественными чертами их являются приподнятая ораторская интонация, властные, императивные формы речи – своеобразные приговоры (вспомним совет царю казнить продажных чиновников “торговой казнью”), частые обращения (*о дети, дети! о царь*), обилие восклицаний и вопросов (“Пишешь сатиры? – Прекрасно. Бичуешь порок? – Превосходно”), ориентация на фольклор (“Хоть под дудку их мы и не пляшем”; “Об мёртвых говори хорошее одно”), наконец, введение просторечия (*заладили одно, задаром, вздор*).

Евгению Баратынскому принадлежит определение эпиграммы как “окогчѣнной летуни”. Именно такой она и предстаёт под пером Майкова.

Орёл



**Творчество и злодейство
в романе В. Набокова
“Отчаяние”**

*В.В. САВЕЛЬЕВА,
кандидат филологических наук*

Этот роман Набоков писал в Берлине и опубликовал в 1934 году в парижском журнале “Современные записки”, позже для английского издательства сделал авторский перевод (английский вариант романа “Despair” окончательно переработан в 1965 году). Герой носит имя, воскрешающее в памяти имя пушкинского персонажа из “Пиковой дамы” (в английском варианте этот ориентир более подчеркнут написанием Hermann).

“Отчаяние” написано от первого лица вымышленным персонажем, для которого создание романной реальности – способ сосредоточить в единое целое разногласия собственного мировосприятия, ибо Герман у Набокова – одновременно преступник, талантливый писатель, обманутый муж, человеконенавистник и лицедей, душевнобольной или переживающий сильный душевный кризис человек. Он наделён способностями пересоздавать окружающий мир и жить в этом пересозданном мире, постепенно прозревая в действительность. В лекции о Ф. Кафке, рассуждая о героях Н.В. Гоголя, Р. Стивенсона, Ч. Дикенса и Ф. Кафки, Набоков говорил о способности этих художников передавать присущий человеку субъективный и часто необычный характер восприятия. Герман в “Отчаянии” тоже принадлежит к таким индивидуалистам-парадоксалистам и его “субъективная жизнь настолько интенсивна, что так называемое объективное существование превращается в пустую лопнувшую скорлупу” (Набоков В. Две лекции по литературе. Франц Кафка. “Превращение” // Иностранная литература. 1997. № 11. С. 215). Пересоздавать окружающий мир можно как в сторону идеальной, гармонической мечты, так и в направлении усиления хаоса, нагнетания ужаса и кошмара. Герман пересоздаёт мир в сторону кошмара.

Во время прогулки в окрестностях Праги Герман обращает внимание на лежащего в позе мёртвого и “около терновых кустов” человека, как оказывается позже, – спящего. “Я глядел, – и всё во мне как-то срывалось, летело с каких-то десятых этажей. Я смотрел на чудо. Чудо вызывало во мне некий ужас своим совершенством, беспричинностью и бесцельностью” (Набоков В.В. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 3. С. 336; далее – только стр.). Так начинается кошмар бытия, в который погружается сам Герман и втягивает своего нищего бродягу-двойника Феликса, для которого встреча с богатым – только счастливый шанс извлечь материальную выгоду. Герой Набокова делает из этой встречи страшную тайну. Факт бытия двойника овладевает воображением Германа (как тайна трёх карт подчинила себе воображение пушкинского Германа) и таким образом переходит в кошмар воображения, который в дальнейшем порождает идею обогащения через убийство Феликса. Герман испытывает чувства притяжения-отталкивания, любви-ненависти по отношению к своему двойнику.

Невозможно разединить в “Отчаянии” творчество и преступление. Творческая исповедь Германа должна оправдать совершённое убийство, а преступление – необходимый творческий акт Германа (как бы вопреки Фрейдю и теории сублимации). При этом кошмар творческого воображения соотносён с кошмаром преступления, по замечанию автора, как “пасьянс, составленный наперёд: я разложил открытые карты так, чтобы он выходил наверняка, собрал их в обратном порядке, дал приготовленную колоду другим...” (406).

Свои взаимоотношения с Феликсом он невольно окружает зеркальными литературными ассоциациями, а отдельные страницы романа “Отчаяние” читаются как анти-“Двойник” Ф.М. Достоевского. Но у Набокова сюжет преследования развёрнут наоборот: не двойник преследует героя, а герой замышляет устранить Феликса. “Двойник” начинается с пробуждения Голядкина и разглядывания своего лица. Зеркальный ужас проходит и через весь роман Набокова, фактически определяя пространственное мироощущение Германа, для которого жизнь разделена на два периода: на время, когда он “был ещё в добрых отношениях с зеркалами” (370), и время нарастания зеркального кошмара (теме человек и зеркало посвящён у Набокова рассказ “Ужас”) после встречи с левшой (особо важная зеркальная деталь) Феликсом. Усложнению зеркальной темы способствует введение в роман истории написания портрета Германа, “трудное лицо” (по выражению художника Ардалиона – 356) которого, вопреки приятному зеркальному отражению, предстаёт на портрете как “розовый ужас моего лица” (366). “Чего стоила, например, эта ярко-красная точка в носовом углу глаза, или проблеск зубов из-под ощеренной кривой губы. Всё это – на фасонистом фоне с намёками не то на геометрические фигуры, не то на виселицы” (Там же). Герман у Набокова созерцает три лица одного лица: собственное лицо в зеркале, открытое лицо своего простодушного двойника и свой портрет, нарисованный Ардалионом, угадавшим “тайну” преступника Германа. Внимание к человеческому лицу роднит Набокова не только с Достоевским, но и обоих писателей с Гоголем, первооткрывателем “тайны лица” в русской литературе (см.: Бочаров С.Г. О художественных мирах. М., 1985; Он же: Вокруг “Носа” // Вопросы литературы. 1993. № 4).

Подобно Голядкину, Герман Набокова ищет и страшится встречи с двойником. Оба героя расценивают появление двойника, как некое “колдовство” (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972. Т. 1. С. 173; далее – только стр.), волшебство, “чудо” (Набоков, 336). Голядкин, стоя над спящим, рассматривает его: «...взял свечу и на цыпочках ещё раз пошёл взглянуть на спящего своего гостя. Долго стоял он над ним в глубоком раздумье. “Картина неприятная! пасквиль, чистейший пасквиль, да и дело с концом!”» (159). В “Отчаянии” Герман разглядывает лицо спящего двойника (“этот человек, особенно когда он спал, когда черты были неподвижны, являл мне моё лицо, мою маску, безупречную и чистую личину моего трупа...” – 341), а потом и убитого им Феликса (“Теперь, когда в полной неподвижности застыли черты, сходство было такое, что право я не знал, кто убит – я или он” – 437). Если в Голядкине пробуждается маниакальный страх, что двойник “подменит человека, подменит, подлец такой, – как ветошку человека подменит и не рассудит, что человек не ветошка” (172), то Герман Набокова своё преступление основывает на подмене. Письма Голядкина к двойнику перекликаются с письмами Феликса Герману.

Германа занимают криминальные сюжеты Достоевского, которого он ставит в один ряд с “Дойлом, Дебланом, Уоллесом” (406) и иронически называет “нашим отечественным Пинкертоном” (386). Это замечание следует за самопризнанием Германа, что описанный им разговор в трактире с Феликсом “что-то уж слишком литературен” и “смахивает на застеночные беседы в бутафорских кабаках имени Достоевского” (Там же). Позже в романе появятся совершенно желчные выпады Германа в адрес автора “Преступления и наказания” (440).

Герой Набокова с его идеей интеллектуального обоснования преступления ощущает своё “карикатурное сходство с Раскольниковым...” (449), ибо не только не переживает мук совести, но гордится преступлением, заверяя, что оно “удалось в совершенстве” и называет его “моё произведение, законченное и подписанное девятого марта в глухом лесу...” (441). Но почему этот анти-Раскольников, после убийства Феликса, не может “привыкнуть к зеркалам”, отрицает себе бороду “не столько, чтобы скрыться от других, сколько – от себя”? Комментируя свои состояния после убийства, он не может забыть “покорность Феликса” и говорит: “Не я обростал бородой, а Феликс, убивший меня” (440). Сравним этот парадокс с фразой Раскольникова: “Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и ухлопал себя, навеки!..” (Достоевский Ф.М. Указ. собр. соч. Т. 6. С. 322).

Переиначивая и окарикатуривая Достоевского, Герман не обходит вниманием и Пушкина, повесть которого “Выстрел” ещё в школьном сочинении “пересказал” по-своему: “Сильвио наповал без лишних слов убивал любителя черешен и с ним – фабулу, которую я впрочем знал отлично” (359). Сам Герман одним выстрелом убивает Феликса (“Он повернулся, и я выстрелил ему в спину”) и смотрит, как тот “медленно повалился навзничь” (437) в снег.

Появление двойника – причина своеобразного бунта набоковского героя против Бога (хотя он уверен, что “идею Бога изобрёл в утро мира талантливый шалопай”: ведь слишком недостойно для “всемогущего” “заниматься” “таким пустым делом, как игра в человечки...” – 393). Герман, сам не замечая того (но это совершенно прекрасно известно Набокову), цитирует Ивана Карамазова: “Бога нет, как нет и бессмертия, – это второе чудовище можно так же легко уничтожить, как и первое” (394). Ср. у Достоевского вопрос Ивана: “Есть ли Бог, есть ли бессмертие?” (Достоевский Ф.М. Указ. собр. соч. Т. 14. С. 213), ещё раньше те же вопросы, обращённые отцом Фёдором Павловичем к сыновьям Ивану и “Алёшке”: “Есть Бог или нет? (...) а бессмертие есть, ну там какое-нибудь, ну хоть маленькое, малюсенькое?”, – и ответы Ивана Карамазова отцу: “Нет, нету Бога. (...) Нет и бессмертия. (...) Никакого” (Там же. С. 123). Но основания для бунта у героя романа “Отчаяние” другие: если в раю его встретят “дорогие покойники” (394) – опять микроцитата из “Братьев Карамазовых”: фраза Ивана о европейских

кладбищах: “Дорогие там лежат покойники...” (210), – то как он разберёт, подлинная ли это его матушка или её двойник, “демон-мистификатор” (394)? Существование двойника начинает рассматриваться Германом как насмешка, покушение на его личность. Герой Набокова испытывает то, что М.М. Бахтин определил как “страх двойника”, из-за отсутствия которого человек “теряет правильную, чисто внутреннюю установку по отношению к своему телу” (Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1989. С. 54).

В своё время Голядкин Достоевского размышлял, каков “промысел божий” в том, чтобы создать “двух совершенно подобных”, и тут же добавлял, что “лучше бы было, как бы не было ничего этого...” (172). Ведь двойник заставляет Голядкина «сомневаться в собственном существовании своём, и он называет создавшуюся ситуацию “пасквильным делом”» (147).

Имитаторский характер творчества Германа пародийно оживает в возможных вариантах названий его рукописи: «...я какое-то заглавие в своё время придумал, что-то, начинавшееся на “Записки...”», – но чьи записки – не помнил, – и вообще “Записки” ужасно банально и скучно. Как же назвать? “Двойник”? Но это уже имеется. “Зеркало”? “Портрет автора в зеркале”? Жеманно, приторно... “Сходство”? “Непризнанное сходство”? “Оправдание сходства”? – Суховато, с уклоном в философию... Может быть: “Ответ критикам”? Или “Поэт и чернь”? Это не так плохо – надо подумать. Сперва перечтём, сказал я вслух...» (456). Гоголь (“Записки сумасшедшего”), Достоевский (“Двойник”, “Записки из подполья”), Д. Джойс (“Портрет художника в юности”), О. Уайльд (“Портрет Дориана Грея”), Пушкин (“Поэт и толпа”, “Опровержение на критики”) посещают воображение Германа. Можно утверждать, что герой романа “Отчаяние”, а за его спиной и Набоков организуют свой текст на пересечении, переосмыслении и объединении мотивов разных авторов, среди которых первенствуют Пушкин и Достоевский. При этом для героя Набокова характерно такое комментирование и наложение текстов Пушкина и Достоевского, при котором наблюдается их существенное изменение и деформация.

С другой стороны, литературные ассоциации, которыми перенасыщена рукопись Германа-преступника, эстетизируют, облагораживают идею преступления. Так, Герман не просто назначает Феликсу встречу, которая будет иметь для того роковые последствия, он назначает её первого октября в небольшом саксонском городе Гарнице “у бронзового всадника в конце бульвара” (368). Этот памятник “какому-то герцогу”, а также вид из окна гостиницы показали Герману “как-то смутно и уродливо” схожими “с чем-то уже виденным в России давным-давно”. “Наконец, в глубине бульвара встал на дыбы бронзовый конь, опираясь на хвост, как дятел, и, если б герцог на нём энергичнее протягивал руку, то при тусклом вечернем свете памятник мог бы сойти за пе-

тербургского всадника”. И далее: “Я дважды, трижды обошёл памятник, отметив придавленную копытом змею, латинскую надпись, ботфорту с чёрной звездой шпоры. Змея, впрочем, никакой не было, это мне почудилось” (373). Похищенный фон из “Медного всадника” явно соотносится с “петербургской темой” русской литературы (см.: Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 313). Одновременно Герман “готовит” свою жену Лиду (почти Лизу!) к тому, что он, “усталый раб”, замыслил побег и ему “...давно завидная мечтается...”. Этот осенний разговор (“Осень, осень, – проговорила она погода, – осень. Да, это осень. (...) Как славно сейчас в России...” – 369) – незадолго до встречи с Феликсом первого октября – и соседство пушкинской лирики (узнаваемые цитаты из стихотворения “Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...”) с идеей преступления сообщает ситуации парадоксально-кощунственный смысл. Тем более, что криминальный мотив отъезда представлен как некая потребность в отдыхе: «Чуть только мы оставались одни, я с тупым упорством направлял разговор в сторону “обители чистых нег”» (370) – см. у Пушкина: “Давно, усталый раб, замыслил я побег / В обитель дальнюю трудов и чистых нег”. Интересно, что в Предисловии к англоязычному переводу (1965) Набоков счёл нужным не только прокомментировать пушкинский контекст этого фрагмента, но и предложить свой перевод стихотворения на английский (“’Tis time, my dear, ’tis time. The heart demands repose” – *Despair. A novel by V. Nabokov. New York, 1989. P. XIV*).

Возникающие параллели с Германном и Сильвио, Голядкиным-старшим и Голядкиным-младшим, Раскольниковым и Иваном Карамазовым своеобразно возвышают и окружают романтическим ореолом личность Германа-преступника. Другой ряд параллелей: критика Ф.М. Достоевского, свободное обращение с текстами А.С. Пушкина, упоминание О. Уайльда (одну из своих новелл Герман называет “псевдоуайльдовской сказочкой” – 398), Г. Мопассана, ироничное цитирование И.С. Тургенева, А.А. Фета, непрямое название Д. Джойса и др. – нацелен на декларацию авторской позиции Германа-писателя, презирающего толпу, но жаждущего славы и признания. Владислав Ходасевич в рецензии “О Сирине”, подчёркивая “подлинный” художественный дар героя “Отчаяния”, писал: “Сирин назвал своего героя Германном (написание В. Ходасевича. – В.С.), мог бы назвать откровенней – Сальери” (Ходасевич В. Колеблемый треножник. Избранное. М., 1991. С. 462). Авторская позиция Набокова, не отождествляясь с голосом Германа, сопряжена интервенциям его героя-графомана в лагерь чужих художественных текстов.

Последние строки записок Германа содержат признания, что действительность похожа на “лжебытие”, “дурной сон” (462), и перекликаются с финалом жуткого сна Раскольникова. В этом сне студент Дос-

тоевского не может убить старуху, которая смеётся “тихим неслышным смехом”. Он хочет бежать, но “вся прихожая уже полна людей, двери на лестнице открыты настежь, и на площадке, и на лестнице и туда вниз – все люди, голова с головой, все смотрят, – но все притаились и ждут, молчат...” (213). Убийца у Набокова “подкрадывается” к окну, отводит занавеску и тоже оказывается перед молчащей толпой (“На улице стоят зеваки, человек сто; и смотрят на моё окно”), жаждущей то ли зрелищ, то ли покаяния: “Я опять отвёл занавеску. Стоят и смотрят. Их сотни, тысячи, миллионы. Но полное молчание, только слышно, как дышат” (462). Финал романа странным образом заключает все события в раму длительного сна: “Может быть, всё это – лжебытие, дурной сон, и я сейчас проснусь где-нибудь – на травке под Прагой” (Там же). Одновременно замыкается в кольцо и композиция романа, который возвращается к первой сцене встречи Германа с Феликсом во время прогулки в окрестностях Праги. Единственно, что изменилось, – спящим теперь оказывается не Феликс, а убивший его Герман, ощущающий себя Феликсом.

Алма-Ата



Terra Incognita
Владимира Набокова

О. Б. МАРКОВА,
кандидат филологических наук

В литературном произведении возможны различной точности определения пространства и времени, которые во многом и обуславливают начальные представления о художественной реальности, творимой писателем. Конкретность пространственно-временных реалий, точное отнесение действия к определённом месту и году (а то и месяцу, дню, часу...) восполняет и заменяет собой массу историко-географических данных, снимает необходимость дополнительных описаний (особенно в произведениях, не относящихся к историческому жанру, в которых даты и подробности порою рассчитаны лишь на создание эффекта достоверности). Памятуя о “вымышленности” текста и соблюдая некоторую корректность по отношению к людям данной эпохи, авторы зачастую только обозначают город, век и десятилетие, не называя точно год, тем самым создавая лёгкую неопределённость, готовую стать всеобщим “когда-то” – (в 186... году). Условность усиливается при исчезновении и точного наименования города, привычного и традиционного “N...” (Страна, как правило, ясно какая, хотя и это необязательно, но часто подразумевается собственно личностью автора).

В некоторых случаях в художественном произведении используется географически “невероятное” пространство, находящееся за краем земли. Путешественник в своём странствии забредает в места, где иные реалии, иная реальность, где не действуют законы его быта и его времени (за морями и в воздухе находятся неведомые страны Гулливера, и уж совсем легко найти “иную реальность” в современной фантастике – любой корабль к вашим услугам!). То же пространство, но иное время, – изнуряющие странствия Уэльса, заставившего своего героя прыгать в разные точки линейного времени.

Возможен и другой вариант, некое географически и исторически не оговорённое место: находящееся вне времени, творящее свою собственную реальность, невозможное пространство, пространство, существующее уже по другим, лишь в нём действующим и в то же время его конструирующим законам. Как правило, замкнутость одно из непременных свойств подобных пространств, и “Замок” Франца Кафки столь же заключён в самом себе, как и предшествующий ему в веках, противоположный, казалось бы, по значению, островной “Город Солнца” Томаса Мора. Прийти в эти места куда легче, чем покинуть их, иногда лишь ценою жизни возможен выход из “заколдованного” места (разлетается бутафорский город – карточный муляж, рассыпается, падает только вместе с головой Цинцинната).

Отдельно стоит упомянуть трансцендентное пространство, пространство “иного света”, загробного существования и/или обитания нечеловеческих потусторонних сущностей. Иногда такое, чуждое пространство, проникает в уже обыденное для персонажей. Стройная модель рушится, смешение приводит к безумию и потере какого бы то ни было ориентира (подобное разрушение постигает героев Лавкрафта). А в произведениях Владимира Набокова возникает удивительный феномен существования одновременно в двух различных пространствах, двух реальностях. Феномен проникновения в “иной вариант бытия”, потери прочной связи с породившим миром, приобретение такой призрачности и воздушности, которая делает возможность инобытия или параллельного бытия.

Входным билетом в инобытие традиционно является смерть. У Набокова пороговое состояние между жизнью и смертью обладает дополнительной собственной протяжённостью, задерживающей отправку в рай, ад или полное небытие, позволяющей очутиться вдруг в другом пространстве и прожить (или начать) другую жизнь. Смерть снимает шоры со взора стоящего на пороге, смерть позволяет увидеть чудесную вариантность мира, в котором акт творения может быть продолжен ставшим вдруг свободным сознанием. (Именно смерть – пусть мнимая – позволяет творить новую реальность Соглядатаю – Смурову, реальность, в которой всё – лишь отражения его сознания, зеркала его мыслей.)

Из ткани мира высвечиваются вдруг точки соприкосновения с иными возможностями существования, точки соединения с другими текстами. Шероховатость камня, косой отвес солнечного луча, смутная зелень весенних деревьев, глянцевый блеск яблока, – особо пристальный взгляд, особое внутреннее состояние. обострённое ощущение бытия, – и хрупкая ткань реальности готова распасться, выказав иное качество.

И противоположное состояние: не вглядывание, а почти отсутствие зрения, близорукое восприятие мира, туманность форм, неясность красок (эта смутная расплывчатость мира вообще свидетельствует у На-

бокова об изменении: жизни, мира, любви, себя самого... Вспомним Франца, оставшегося без очков в романе “Король, дама, валет...”). Реальность колеблется, теряет свою оформленность, трансформируется в отсутствие фиксирующего взгляда.

Реальность полна прорех, остающихся после каждого прорыва её, и внимательный взгляд всегда позволит если не проникнуть в иную её плоскость, так хотя бы провидеть её, смутно ощутить, не всегда осознав, как ощущается порой мимолётный аромат в порыве ветра. Так обострённое восприятие счастья чуть было не позволило “прорваться” в иной вариант судьбы персонажу рассказа “Облако, озеро, башня” (и как ужасно, постыдно было возвращение в обыденную, привычную реальность).

Горе, не узнанное ещё, но уже существующее, раскинувшее над душой чёрный покров безысходности (тоже состояние прорыва, но в иную сторону), заставило героя “Ужаса” почувствовать чуждость данной ему реальности и собственного, приспособленного к ней облика: “...я глядел на своё отражение в зеркале и не узнавал себя”. Человеческое сознание страшится потери связи с привычным миром, который может вдруг оказаться неизвестным, невозможным, ужасным, ужасным настолько, что к выброшенному за его пределы, не защищённому силой творения (творения новой реальности) сознанию подкрадывается безумие: “...я вышел на улицу, в случайном городе, и увидел дома, деревья, автомобили, людей, – душа моя внезапно отказалась воспринимать их как нечто привычное, человеческое. Моя связь с миром порвалась, я был сам по себе, и мир был сам по себе, – и в этом мире смысла не было. Я увидел его таким, каков он есть на самом деле: я глядел на дома, и они утратили для меня свой привычный смысл; всё то, о чём мы можем думать, глядя на дом... архитектура... такой-то стиль... внутри комнаты такие-то... некрасивый дом... удобный дом... – всё это скользнуло прочь, как сон, и остался только бессмысленный облик, – как получается бессмысленный звук. если долго повторять, вникая в него, одно и то же обыкновеннейшее слово. Я понял, как страшно человеческое лицо”.

Смерть жены разрушает привычную реальность, но смерть может и создать новую, более свойственную данному человеку или более желанную.

В рассказе “Пильграм” вожденная мечта жизни, путешествие в далёкие страны, охота за прекраснейшими существами мира насекомых – летающими цветами, экзотическими бабочками становится доступна лишь тогда, когда ушли годы, и долгая усталость может обесцвечить лелеемую сказку. И Пильграм умирает, умирает на пороге путешествия, которое, тем не менее, состоялось: “Да, Пильграм уехал далеко. Он, вероятно, посетил и Гарнаду, и Мурцию, и Альбарацин, – вероятно, увидел, как вокруг высоких, ослепительно белых фонарей на се-

вильском бульваре кружатся бледные ночные бабочки; вероятно, он попал и в Конго, и в Суринам, и увидел всех тех бабочек, которых мечтал увидеть, – бархатно-чёрных с пурпурными пятнами между крепких жилок, густо-синих и маленьких слюдяных с сажками, как чёрные перья”.

И другой персонаж набоковского рассказа “Тегга Incognita” не может умереть в мягкой постели городской квартиры, ибо подстать ему другая участь, иная смерть – в тропическом болоте, смерть искателя и исследователя, гибель, а не угасание: “Но внезапно, на этом последнем перегоне смертельной моей болезни, – ибо я знал, что через несколько минут умру, – так вот, в эти последние минуты на меня нашло полное прояснение, – я понял, что всё происходящее вокруг меня вовсе не игра воспалённого воображения, вовсе не вуаль бреда, сквозь которую нежелательными просветами пробивается моя будто бы настоящая жизнь в далёкой европейской столице, – обои, кресло, стакан с лимонадом, – я понял, что назойливая комната, – фальсификация, ибо всё, что за смертью, есть в лучшем случае фальсификация, наспех склеенное подобие жизни, меблированные комнаты небытия. Я понял, что подлинное – вот оно: вот это дивное и страшное тропическое небо, эти блистательные сабли камышей, этот пар над ними...”.

Герой принимает ту реальность, которая более ему соответствует, которая творится “по духу и подобию”. Одна реальность наслаивается на другую, проступает сквозь неё, но обе они уравниваются исчезновением в момент смерти: “Всё линияло кругом, обнажая декорации смерти, – правдоподобную мебель и четыре стены. Последним моим движением было раскрыть сырую от пота книжку, – надо было кое-что записать непременно, – увы, она выскользнула у меня из рук, я пошарил по одеялу, – но её уже не было”.

Сильное чувство, смерть, любовь, эстетическое восприятие мира, творчество, – много дорог ведёт в Тегга Incognita Владимира Набокова, по-разному прекрасную или опасную, но, чаще всего, желанную.

Алма-Ата



“УМЕРЕТЬ – ТОЖЕ НАДО УМЕТЬ...”

*Штрихи к лингвистическому портрету
Булата Окуджавы*

В.Н. КЛЕЩИКОВА

Умереть – тоже надо уметь,
на свидание к небесам
паруса выбирая тугие, –

писал Булат Окуджава по меньшей мере три десятилетия назад, заслужив упрёки некоторых критиков в несерьёзности и браваре по отношению к смерти.

Ненадолго разлука, всего лишь на миг, а потом
отправляться и нам по следам по его по горячим.

(Окуджава Б. Избранное. Стихотворения. М., 1989. С. 209; далее – только стр.). Здесь, в стихотворении “О Володе Высоцком”, сказано уже не гипотетически и патетически, а философски умудрённо и смиренно.

И вот “по горячим следам” Высоцкого вместе с уходящим столетием отправился в вечность и сам Булат Окуджава – не просто поэт, писатель, сценарист, властитель дум по отношению к своим более молодым подражателям и последователям, но и человек, занимавший особое место в современном культурологическом контексте, – “Чехов с гитарой”, по меткому определению Евг. Евтушенко; старший из шестидесятников, которым “всё маячило – от высылки до вышки” (Окуд-

жава Б. Милости судьбы. М., 1993. С. 57), с опалённой войной юностью, а не детством; родившийся 9 мая – в будущий День победы, воспевающий в стихах пехоту, а миномётчиков – в прозе; последний актёр “упразднённого театра” (см. последний, автобиографический роман Б. Окуджавы “Упразднённый театр”. Семейная хроника. М., 1995) и неутомимый апологет Арбата, немало способствовавший превращению этой улицы в своеобразный московский Монмартр; основоположник жанра авторской песни в современном его варианте (предтечей которого был, конечно же, А. Вертинский); создатель многих ставших хрестоматийными стихотворных строк, в том числе впервые прозвучавших в популярных кинофильмах и спектаклях; тонкий, изящный стилизатор романтических и благородных переживаний блистательно девятнадцатого века с его эlegantностью, светскостью, страстностью и притворно холодным пренебрежением к смерти; глубоко убеждённый, что его самая лучшая песня – всегда ещё впереди.

Легко, необычно и весело
кружит над скрещеньем дорог
та самая главная песенка,
которую спеть я не смог. (74)

Песне – любимому жанру Окуджавы, кроме выразительной ритмизации, музыкальности звучания, повторов и параллелизмов, характерных для песенных текстов, присуще определённое лингвистическое оформление:

1. Отсутствие малопонятных и сложных слов*, компенсируемое автором яркими, необычными и потому сразу же запоминающимися словесными образами, которые:

либо являются смысловым стержнем всего произведения и обычно вынесены в заглавие, как, например, в стихопеснях “Часовые любви”, “Дежурный по апрелю”, “Весёлый барабанщик”, “Капли датского короля”, “Полночный троллейбус” и др.

* У Окуджавы практически нет неологизмов, за исключением легко расшифровываемого в контексте его поэтического творчества слова *арбатство*: “Б. Окуджава живёт в мире – как на Арбате, и относится к миру, как к Арбату: очень лично” (Красухин Г. “То грустен он, то весел он...” // Вопросы литературы. 1968. № 9. С. 44), – заметил один из критиков ещё в конце 60-х годов. Трепетное отношение Окуджавы к Арбату, который поэт любовно называет “моё призвание”, “моя религия”, “моё отечество”, породило ряд окказиональных словосочетаний с прилагательным “арбатский”: *арбатский романс, арбатские напевы, арбатское вдохновение, арбатский эмигрант* (то есть бывший житель Арбата) и т.п.

Полночный троллейбус, по улице мчи,
 верши по бульварам круженье,
 чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи
крушенье,
крушенье.

Полночный троллейбус, мне дверь отвори!
 Я знаю, как в забюку полночь
 твои пассажиры – *матросы* твои –
 приходят
 на помощь.

“Полночный троллейбус” – аналог некоего спасательного корабля для запоздалых ночных прохожих, и слова *крушенье* и *матросы* в необычном вербальном окружении – составные части словесного каркаса, формирующего сложный метафорический образ;

либо присутствуют в стихотворении в виде нескольких однородных или противоположных поэтически одушевлённых символов – своеобразных, порой фантастических или фантазмагорических образов-параллелизмов, например, “рядовой одноногий Костыль”, “полковник Смерть”, “удалой капитан Барабан”, “поручик Кларнет” (“Из фронтového дневника”); четыре судьбоносных “ваших благородий” женского пола – “госпожа разлука”, “госпожа чужбина”, “госпожа удача”, “госпожа победа” (“Ваше благородие, госпожа разлука...”) или “три сестры, три жены, три судьбы милосердных” – Вера, Надежда, Любовь (“Опустите, пожалуйста, синие шторы...”) – самые дорогие поэту образы, пронизывающие, вместе или порознь, многие стихотворения разных лет и перекочевывшие в прозу: “Эти молодые японки (стюардессы в салоне японского самолета. – В.К.) действительно не были такими уж красавицами, но они и не были на одно лицо, как ему (герою рассказа Окуджавы “Как Иван Иванович осчастливил целую страну”. – В.К.) показалось вначале. Он условно назвал их про себя знакомыми именами, а именно: *Вера, Надя, Люба*” (Окуджава Б. Искусство кройки и шитья. Два рассказа. М., 1990. С. 24). Думается, что и известная песня Андрея Макаревича о Вере, Надежде и Любви “Три сестры, три создания нежных...” написана не без влияния соответствующей песни Окуджавы. Однако безоговорочное восхищение последнего тремя эфемерными и желанными спутницами человеческой жизни с годами уступает место более сдержанному, осторожному отношению:

Немоты нахлебавшись без меры,
 с городской отравой в крови,
 опасаясь фанатиков веры
 и надежды, и поздней любви.

(Окуджава Б. Милости судьбы. С. 21);

либо разворачиваются в канве стихотворения в более-менее законченные и взаимосвязанные цепочки оригинальных ассоциативных ме-

тафор и сравнений, объединённых авторским замыслом, общей тоналностью и воссоздаваемой поэтической картиной, воспринимаемой – штрих за штрихом, мазок за мазком* – поэтапно всеми органами чувств:

Там отпечатаны коленей
остроконечные следы,
как будто молятся олени,
чтоб не остаться без воды...
По берегам, луной залитым,
они стоят: глаза – к реке,
твердя вечерние молитвы
на тарабарском языке.
(“Кричат за лесом электрички...”)

Безусловно, такие стихотворения гораздо ближе к собственно стихотворению, чем к стихотворению-песне:

Всю ночь кричали петухи
и шеями мотали,
как будто новые стихи,
закрыв глаза, читали.

Но было что-то в крике том
от едкой той кручины,
когда, согнувшись, входят в дом
постылые мужчины.

И был тот крик далёк-далёк
и падал так же мимо,
как гладят, глядя в потолок,
чужих и нелюбимых. (62)

Вербально-метафорическим цепочкам Окуджавы нередко присущи определённая внутренняя иерархичность смысловых звеньев, располагаемых по нисходящей, как, например, в стихотворении о “двух кузницах зелёных”, которые “пишут белые стихи”:

и сквозь всякие обиды
пробиваются в века
хлеб (поэма),
жизнь (поэма),
ветка тополя (строка)... (47),

* Мотив неразрывного единства живописи, поэзии и музыки проходит через всё творчество Б. Окуджавы, для которого слово художник может служить не только для обозначения мастеров “холста и красок”, но и виртуозов “пера и смычка”: “Отчего ты печален, художник – / живописец, поэт, музыкант?”.

или наоборот, как в таком плавном переходе по восходящей от одних к другим, более широким пространственным образам, перерастающим в единый глобально-временной символ:

Просто вы дверь перепутали,
улицу, город и век. (48)

Другим стихотворениям свойственна некая центричность ключевого образа, получающего в каждой строке или строфе новую характеристику при сохранении в структуре стиха изначально заданных синтаксических и лексических параллелизмов:

Ты наша сестра,
мы твои непутёвые братья (...)
Ты наша сестра,
мы твои торопливые судьи...
(“Я вновь повстречался с Надеждой...”)

Или:

Всё глуше музыка души,
всё звонче музыка атаки. (...)
И это всё у нас в крови,
хоть этому не обучали:
чем выше музыка любви,
тем громче музыка печали,
чем громче музыка печали,
тем чище музыка любви. (313)

Однако, чтобы полностью разобраться в смысловой подоплёке того или иного образа, “не достаточно понимать сами слова, – нужно ощущать через них мировоззрение автора, ориентироваться в его стилистическом направлении, знать обстоятельства, в которых этот текст родился и его место в жизни и развитии данного автора”, – писал в своё время известный украинский поэт и критик М. Зеров (Життя й революція. 1928. № 9. С. 146). Так, истоки художественного образа прачки в стихотворении Окуджавы “Искала прачка клад” (“На дне глубокого корыта / так много лет подряд / не погребённый, не зарытый / искала прачка клад”) находим в биографии самого поэта, его детских воспоминаниях и семейных преданиях – прачкой была его бабушка Елизавета Окуджавя: “Елизавета стирала, стирала самозабвенно и жертвенно, почти с отчаянием. Её хрупкие, тонкие, молодые руки ворошили такие груды чужого белья, что хватиле бы на целую прачечную” (Окуджавя Б. Упразднённый театр. С. 8).

2. **Вербальная стилизация** – приём, часто используемый Окуджавой в его “квази”-исторических и почти сказочных стихотворениях-песнях, где особое пространство и время, и персонажи, именуемые словами, которые толковые словари зачастую маркируют пометой *устар.* (то

есть устарелое) – корнеты, кавалергарды, юнкера, маркитантки, оловянные и бумажные солдатики, сказочно-бутафорные короли и королевы и т.п.

3. Окуджава нередко сочетает такие разнородные стилистические приёмы, как *звуконпись* и *цветопись**:

Золото резче на *чёрном*.

Музыка звонче в ночи.

(“*Державин*”)

Господи мой Боже,

зеленоглазый мой!

(“*Молитва*”)

Красный ястреб в листьях *красных*...

(“*Осень в Кахетии*”)

В *тёмно-красном* своём

будет петь для меня моя Дали,

в *чёрно-белом* своём

преклоню перед нею главу...

(“*Грузинская песня*”)

Излюбленные цвета Окуджавы – *красный* и *синий*, часто в сочетании друг с другом:

Вдоль *Красной* реки, моя радость,

вдоль *Красной* реки,

до *Синей* горы, моя радость,

до *Синей* горы.

(“*Ночной разговор*”)

Красный дуб с *голубыми* рогами

ждёт соперника из тишины...

(“*Осень ранняя...*”),

рядом с которыми время от времени появляются, их изысканно отте-

* Если *звуконпись* (как система звуковой инструментовки поэтического языка) и две её основные разновидности – ассонанс и аллитерация представлены во многих словарях, то использование в тексте художественного произведения лексем со значением цвета терминологически в отдельный стилистический приём пока не выделяют, хотя этой проблеме посвящено много статей и исследований и ни один серьёзный стилистический анализ творчества того или иного поэта не обходится без её рассмотрения.

няя, золотой и белый (реже чёрный): “синий буйвол, / и белый орёл, / и форель золотая...” (“Грузинская песня”), “красный камзол, башмаки золотые” (“Песенка о Моцарте”), “белым флагом струится на пол простыня” (“Опустите, пожалуйста, синие шторы...”), “Лишь белые вербы, / как белые сёстры, глядят тебе вслед” (“Песенка о пехоте”), “Белый аист московский на белое небо взлетел, / чёрный аист московский на чёрную землю спустился” (“О Володе Высоцком”).

Звукопись Окуджавы насыщена и разнообразна, её богатые возможности активно использованы автором во многих стихотворениях для создания эффектного звукового образа:

Тьмою здесь всё занавешено
и тишина, как на дне...
Ваше величество женщина,
да неужели – ко мне?

Тусклое здесь электричество,
с крыши сочится вода.
Женщина, ваше величество,
как вы решились сюда? (48)

Шипящие *ж, ч, ш, щ* – ассоциативные аналоги шёпота, приглушённых звуков имитируют тоскливо-тревожную тишину, наполненную привычными и непонятными шорохами, среди которой звонкая, торжествующая сонорность *н* в сочетании с удивлённо и радостно кричащим *а*, словно звон свадебных бокалов, передают ощущения лирического героя в результате неожиданно произошедшего невероятного и прекрасного события.

Аллитерационно-ассонансное сочетание *н + а* ещё более импульсивно, бодро и открыто звучит в стихотворении “Матушки Нонна и Анна...”, дополненное сонмом других повторяющихся звуков – не менее звонким *м*, раскатистым *р*, ледово-твёрдым *д* и уступчивым *т*, мягко скользящими *с, ж, ш* и *е*:

Матушки Нонна и Анна,
здесь, в Гефсиманском саду,
гром и ледовая манна
этой зимою в ходу.

Снежное крошево льётся,
но до скончания лет
солнышко всё же пробьётся –
в этом сомнения нет.

Резкое и сильное дуновение свистящих предвесенних ветров умело передано благодаря аллитерациям *с-т-к* и ассонансам *и* (-свист) и *о* (-нечто, заставляющее вздрогнуть, а также нечто мокрое – предвесенние ветра часто приносят дожди):

Идет к концу
 февраль тифлисский.
 Он весь – на остром сквозняке.

(Окуджава Б. По дороге к Тинатин. Тбилиси, 1964. С. 39).

Однако самое звукописно знаменитое произведение Окуджавы – его “Зной”, яркий образец стихотворения-тавтограммы (аллитерационный стих, в котором все слова начинаются с одного звука), несмотря на небольшое отступление от строгих требований этого жанра: из 51 слова “Зной” – 6 служебных (5 предлогов и 1 союз) и 4 (*может быть* и *взгляд*) “чужеродных”, зато остальные 42 неизменно начинаются с одного и того же звука – в данном случае *п* – согласно правилам тавтограммы:

Питер парится. Пора парочкам пускаться в поиск
 по проспектам полуночным за прохладой.
 Может быть,
 им пора поторопиться в петергофский
 первый поезд,
 пекло потное покинуть, на перроне позабыть.
 Петухи проголосили, песни поздние погасли.
 Прямо перед паровозом проплывают и парят
 Павловска перрон пустынный.
 Петергофа плен прекрасный,
 плеть Петра,
 причуды Павла,
 Пушкина пресветлый взгляд.

“Допеты все песни. / И точка. / И хватит, и хватит о том. / Ну, может, какая-то строчка / осталась ещё за бортом” (65), – сокрушался Булат Окуджава, чьи муки творчества часто увенчивались созданием лингвистически оригинальных стихотворных образов – “таксомоторной кибитки”, “Невы Петровны”, “сосновых бабок и словых внучек”, рожаящих март под открытым небом (91), “шалыпинского чистого баска” подмосковного шмеля в Массачусетсе (67), новогодней ели, напоминающей Спас-на-Крови (151), боли, “что скворчком стучала в виске” (6) и мн. др., – выходец из “старых” арбатских ребят (24), стремящийся вопреки немилосердной эпохе “потрафить” кузнечикам и сверчкам.

Все ухищрения и все уловки
 не дали ничего взамен любви...
 ...Сто раз я нажимал курок винтовки,
 а вылетали только соловьи. (128)

Таким навсегда останется в нашей памяти Булат Шалвович Окуджава, русский поэт уходящего XX века, гедонист, альтруист, гуманист и неисправимый оптимист, самозабвенно влюблённый во всё прекрасное в жизни и не боявшийся опозитизировать даже смерть:

Умереть – тоже надо уметь,
как бы жизнь ни ломала
упрямо и часто...
Отпущенье грехов заиметь –
ах как этого мало
для вечного счастья! {...}
Что – грехи?
Остаются стихи,
продолжают бесчинства по свету,
не прося снисхожденья... (169)

Киев





ЗАБЫТЫЕ СТАТЬИ С.И. КАРЦЕВСКОГО

Сергей Иосифович Карцевский, один из основателей и активных участников Пражского лингвистического кружка, фигура, сегодня несправедливо забытая и затемнённая такими именами, как Р.О. Якобсон и Н.С. Трубецкой.

С.И. Карцевский родился в Тобольске 28 августа 1884 года. После ареста в 1906 году за политическую деятельность и тюремного заключения он эмигрировал за границу, в Швейцарию. В Женевском университете Сергей Карцевский занимался лингвистикой под руководством Ф. де Соссюра, Ш. Балли, А. Сеше.

В 1917 году Карцевский возвращается в Москву, где в 1918 году на заседаниях Диалектологической комиссии Академии наук обсуждался его доклад о системе русского глагола. В 1920 году он окончательно покидает Россию. В 1927 году в Праге выходит его книга “Система русского глагола”, предварительно защищённая им в Женеве в качестве докторской диссертации. В вводной главе этой книги Сергей Карцевский излагает свои взгляды на язык как семиологическую систему и

раскрывает основные принципы лингвистического анализа.

Лингвистическое наследие Сергея Карцевского главным образом представлено работами на русском и французском языках. На русском языке написан краткий очерк русской грамматики, который лёг в основу “Повторительного курса русского языка”, цель которого, по словам автора, во-первых, “познакомить с механизмом языка”, и, во-вторых, показать, что язык “есть социальное установление”.

Можно сказать, что вопросы синтаксиса вызывали особый интерес учёного. Отдельным его проблемам посвящены исследования Карцевского 30-х годов (написанные на французском языке). Среди других работ следует упомянуть такие, как “О фонологии фразы” (1931), “Фраза и предложение” (1937), “Два предложения в одной фразе” (1939), где автор проблемы интонационной реализации коммуникативных единиц, вопросов сочинения и подчинения выдвигает мысль о происхождении сочинительных союзов от междометий.

Рассматривая язык как систему, Карцевский не оставляет в стороне ни одного из его разделов.

Предлагаемые читательскому вниманию статьи относятся к первым годам эмиграции Карцевского и получили развитие в вышедшей в 1923 году в Париже работе “Язык, война и революция”. Сейчас, когда русский язык, и в первую очередь его лексика, претерпевает значительные изменения, являющиеся отражением перемен в общественной жизни, особенно интересно оглянуться на семьдесят с лишним лет назад, чтобы вспомнить, как реагировал язык на события того времени.

Ирина Фужерон,
Заведующая кафедрой славистики Университета
им. Шарля де Голля
Лилль-3. Франция

Сергей Карцевский

РУССКИЙ ЯЗЫК И РЕВОЛЮЦИЯ

Уже 1905 год оставил после себя некоторое лингвистическое наследие в виде целого ряда слов, частью новых, частью малоизвестных, которые в ту пору проникли во все углы России и в самые широкие слои населения.

Слова эти были, главным образом, политические термины, появившиеся для обозначения новых политических явлений – партий, партийных органов и лозунгов думской деятельности. Многие из этих слов остались и до сих пор: *к-д, эсер, есдек, большевик, меньшевик, ц-к*, то есть центральный комитет партии, *комитетчик, партиец; чёрная сотня* и все его производные.

Затем – *итрейкбрехер, митинг, экс*, то есть экспроприация, и его злоеший отголосок “смертник”. Выступавшие на митингах ораторы превращались в “орателей”, а то и просто в “кукурешиников”, а их летняя каскетка или кепка (кепи) – зимой все революционеры были в папахах – назывались в рабочих кругах “заклёпка”. Кое-какие из этих созданий 1905 года уже позабыты, но ещё понятны, а есть и такие, которые ничего уже не говорят современному сознанию, такова, напр., “массовка”, то есть значительное по количеству тайное собрание рабочих, или всеми забытая партия “трёх покоев”, П.П.П., иначе партия правового порядка, или “Гурка”, съевшая вместе с Лидвалем русский хлеб.

С тех пор мы пережили грандиозные события – война, революция, большевизм, гражданская война – всё это неминуемо должно было оставить свои следы и на русском языке. Должны были возникнуть новые слова для новых понятий, вызванных к жизни новой обстановкой войны и следовавшей политико-социальной разрухи. Интересно и поучительно обследовать, какие изменения произошли в эпоху 1914–1920 годов.

Этой задаче посвящена недавно вышедшая книга “*Lexique de la guerre et de la révolution en Russie (1914–1918)*”, принадлежащая перу профессора А. Мазона, известного слависта, автора выдающихся трудов о Гончарове и о русском глаголе. Профессор Mason был в России во время войны, был арестован большевиками и провёл полгода в Бутырках; всё это время он наблюдал, отмечал языковые изменения и, вернувшись во Францию, систематизировал собранный материал. Скромное заглавие скрывает значительное, даже богатое содержание. Переворачивая страницы, вы пробегаете знакомые слова, отголоски и современные пережитых событий, с которыми связано столько переживаний, иногда однозных, иногда таких, которые наполняют сердце скорбной гордостью. Перед нами проходят годы войны, фронт, тыл, Государственная дума, распутинство, революция, “мир без аннексий и контрибуций”, совдеп, керениада, кронштадтцы, “краса и гордость революции”, большевистское восстание, Брест-Литовск, скоропадчина, корниловцы, денкинецы, совдепия, колчакизм, нет только в книге врангелиады.

Каждое слово ещё живо трепещет и отзывается той атмосферой, в которой зародилось. Вот, Либердан, “подхалимный танец” для “пролеткультских танцулек”, вот “учредиловка” и “селянский министр”;

“керенки”, “у ей керенки есть в чулке”, поэт А. Блок; красногвардейцы, красноармейцы, “мешочники” забивают теплушки “Максима Горького”; приближается “похабный” Брест-Литовский мир и железнодорожники “викжеляют”, викжеляют и интеллигенты “саботанты”, прежде чем спекулировать и перейти на “советскую службу”. “Обер-знахарь” Вильсон едет в Европу бороться с большевистской эпидемией, которая грозит “советизировать” всю “империалистическую” “Антанту”, “Убеждатель” Керенский “главноуговаривает”.

Зарождается “самостийность”, “скоропадчина”, “хлеборобы”; на юге собираются “белогвардейские банды” “золотопогонников”; в каждой деревне они стараются “мобилизнуть” лошадей и молодёжь. “Деникинцы” и “Колчакизы” теснят “рабоче-крестьянское” правительство. “Комиссародержавие”, “ВЧК”, “самогон”, “стенка”, “чёртова коробка”, “в конверт и на почту”, “комбеды”, “комуниры”, “хамовозы” и т.д., и т.д.

Нет возможности перечислить и десятой доли тех слов и выражений, что связаны с переживаемой нами эпохой, и что приводится в книге профессора Мазона. Многие из них скоро забудутся и останутся достоянием истории и историков; иные рождаются вновь, и нет возможности все их зафиксировать. Вот некоторые из слов, которых мы не находим в книге профессора Мазона и которые было бы, пожалуй, интересно зарегистрировать.

Рядом с “самогон” существует “самосидка”, то есть вино, высиживаемое дома. Среди сокращений типа Нарком, Совдеп и т.д. можно упомянуть насмешливое: Компоморде, то есть комиссар по морским делам; имя наркомздрава д-ра Семашко, распространявшего афиши и брошюры о необходимости бороться с паразитами: вшами, клопами и т.д., породило “семашку”: “смотри, семашка ползёт!” Среди слов, порождённых войной, наряду с “чемоданами” следует упомянуть “стаканы”. Новым сравнительно словом, возникшим вместе с распространением марксизма, является “классовый”, которого нет в словаре Даля. Так как Lexique отмечает некоторые слова эпохи 1905 года, то к ним можно присоединить прилагательное “твёрдокаменный”, то есть политически непримиримый.

Выводы, к которым приходит автор, с которыми нельзя не согласиться, говорят о том, что ни война, ни большевики не затронули своим влиянием основ языка, то есть его грамматики. Все новшества сводятся к новым словам, образованным либо от старых русских корней, либо заимствованных с иностранных языков. Заимствования эти произошли большей частью у немцев, что и понятно, ввиду того, что главари большевизма являются большей частью выучениками Маркса и немецкой социал-демократии, да и приехали в немецких вагонах. Так, с немецкого заимствованы *паритет*, *предпарламент*, *государственный аппарат*, *парттаг*, *цузамменбрух*, *штрейкбрехер* и т.д.

Языковым вкусом г-да большевики и их литераторы далеко не отличаются. Вот несколько примеров, приводимых проф. Мазоном: *революция есть локомотив (!) истории, религия есть опиум для народа*, вместо – религия народу опиум. Или такое милое выражение, как “я хочу свистеть на это” (*ich will darauf pfeiffen*). – Но ещё до большевиков вместе с беженцами из западного края явилось знаменитое “извиняюсь” и расплодилось по всей “залузганной” России вплоть до “Хамбурга”, то есть Петрограда. Русское общество склонно думать, что большевики испортили в корень наш язык. Но проф. Мазон доказывает нам, что для таких страхов нет совершенно оснований. – Помилуйте, возражают мне, а как же большевистская орфография! Но орфография не есть язык. Затем новая орфография не большевистская, а академическая, и была разработана академией уже двадцать лет тому назад и проведена Временным правительством. А в-третьих, пора нам перейти на новую орфографию. Ведь это тоже одно из “завоеваний революции”. Но об этом в другой раз.

Общее дело. № 208. 8/II.1921

ХАЛТУРА

Большевистское лихолетье оставит после себя немалое языковое наследство, хотя бы в виде тысяч новых слов, возникших в русском языке за последние годы. Обновление словаря шло самыми разнообразными путями. Заимствовались чужеземные слова: *антанта, директория, аннексия, дезаннексия, категория, контрибуция, коалиция, коммуна, самостоятельность* и т.д., и т.д.

Переосмысливались по-новому прежние слова и выражения: *мешочник, социалист, комиссар, буржуйка* (маленькая печка), *паёк, размешать* (убить), *операция* (обыск, арест), *шкурник*, и т.д. Слова подвергались ампутации, создавались сокращения: *РСФСР, ЧК, Викжель* (Все-рос. И.К. ж-д), бесчисленные *главки, центры, комы, наркомы* и т.д., и т.д. А от этих новых основных слов производились возможные производные: *мешочничать, опайковаться, сбончить* (“сбрэндить”, сказать глупость), – от имени комиссара Бонч-Бруевич, *коллонтаить* (развратничать) – от имени комиссарши Коллонтай.

Те области национального быта, которые всего больше пострадали от хозяйничанья большевиков и от гражданской войны, где разруха, ломка, переустройство достигли своего апогея, оказались более бога-

тыми и в отношении словотворчества. Достаточно, например, вспомнить, сколько наименований и переименований существует для денежных бумажных знаков (см. R. Jakobson. “Vliv revoluce na ruský jazyk”, статья в *Nové Atheneum*, Praha, 1921): постепенно исчезали царские деньги – *синенькие, красненькие, радужные, катеньки* – и их место заступали *думки, керенки, ленинки, интернационалки, китайки, “ходя”, “жидки”, пятаковские деньги*; а у антибольшевиков *ленточки* (Добр. Армии), *крылатки* (армии Юденича), *колокольчики* или *врангелевки*; на Дальнем Востоке колчаковские деньги назывались *фазанчиками*. У московских извозчиков *рублик* означало сотенный билет (теперь означает тысячный), а десять рублей назывались *гривенник*. В Крыму миллион назывался “лимон” и т.д. Напомним также, что переименование на новый лад государственного административного аппарата потребовало бы страшной ломки и в соответствующей терминологии, но тут пришлось кстати мания сокращений, которая с фронта проникла и в тыл. Учреждения переименовывались в *главки, хозы, центры, комы* и стали именоваться по начальным слогам или буквам, и, таким образом, старорежимное Главное Военно-Инженерное Управление, Главное Артиллерийское Управление и т.п. превратились в ГВИУ, ГАУ и приобрели “революционный” “рабоче-крестьянский” вид...

Но, несмотря на массу новых слов, возникших для обозначения новых понятий, одно из явлений советской жизни, на наш взгляд, самое главное явление эпохи лихолетья, продолжало оставаться без особого обозначения. Мы говорим о труде, “о том переосмыслении”, о той “переоценке”, которым подверглись во всей России понятия *труда, работы* и вообще *деятельности*.

Новый режим диктатуры пролетариата был прежде всего понят как право на отдых, на “буржуинное” существование для прежних трудящихся и переложение ига труда на плечи бывших господ. Иначе какой же это социализм, что за диктатура пролетариата, когда нужно по-прежнему трудиться, как во времена господства буржуазии. И большевики должны были пойти по линии наименьшего сопротивления: армия уходила с фронта, распродавая военное добро; крестьяне захватывали и истребляли помещичье добро; в городах шли реквизиции “буржуазных” фабрик, домов, квартир, обстановки, одежды. В продолжение первых лет вся страна жила за счёт запасов, унаследованных от прошлого, мало помышляя об организации производства и наслаждаясь издевательством над буржуями. Когда большевики опомнились и попытались организовать производство, – было поздно: они оказались перед объективной невозможностью наладить труд и не только потому, что транспорт расстроен окончательно, нет хлеба, нет капиталов и

т.д., но и потому, что труд стал в России психологически невозможен.

Тем не менее вся Россия “работает” по комиссариатам, на фабриках, в командировках, в школах и т.д. Даются грандиозные задания: электрификация всей страны, переселение в Сибирь миллионов голодующих, снабжённых предварительно инвентарём, семенами и тракторами; исследование причин отключения магнитной стрелки в одной местности неподалёку от Курска, для чего необходимо будет пробуровать почву на глубину около двух тысяч метров; “Ильичу” приходит на мысль, что хорошо было бы составить полный словарь современного русского языка, о чём пишется записочка Луначарскому; в то же время один помощник скорбного главою наркомпроса вдруг осенён шалой мыслью внести в Россию латиницу, то есть латинскую азбуку, и вот летят запросы в Академию, в университеты, в учёные общества, созываются съезды, читаются доклады, возникают прения, ведётся колоссальная переписка и отписка, ассигнуются (обычно только на бумаге) миллиардные кредиты, создаются новые должности и т.д., и т.д.

И все знают, что как бы ни был интересен проект, но он не выполним – голод, холод, болезни, отсутствие даже ассигнованных денег, новые сумасбродства комиссаров, а главное – общая усталость, безверие, индифференцизм (которым не заражены только редкие отдельные лица) – и всеобщий танфишизм – сведут на нет даже практически возможное начинание.

И вот всё-таки люди работают, потому что не работать нельзя, это требуется советской конституцией, нужно работать, чтобы получить жалованье, наконец, нужна же хоть видимость дела – иначе ведь и с ума сойдёшь.

Вот для такой “работы”, для обозначения развенчанного, опозоренного, ошельмованного труда нужно было создать новое слово. И его создали.

Это слово *халтура*.

Халтурить стало самым ходовым словом в России, хотя пока ещё не проникло за границу. Интересные примеры его употребления находим в статье господина Р. Якобсона. Когда советское правительство начинает создавать проекты один другого грандиознее, спец или иной интеллигент, привлечённый к разработке этих проектов, знает, что всё это *халтура*, – что их авторы *халтурники*, что и сам он будет не делом занят, а *халтурничеством*. И вот все *халтурят*, потому что работать, трудиться в полном значении этого слова невозможно, а не “халтурить” – тоже нельзя.

Всякое несерьёзное занятие – халтура. Частые выступления актёров на разных сценах, то в городе, то в деревне, то на эстраде, иногда в разных местах в один и тот же день – это *халтура*. Проститутка подцепи-

ла гостя в неурочное время – *халтура*. Советские служащие не служат, а *халтурят*. Слово это стало таким популярным и, в связи с универсальностью самого явления, таким универсальным, что применяется всюду, где нужно выразиться позабористее: “а ну-ка, *халтурнём* в железку”... “*Халтурни* его как следует, ко всем чертям”. “Он ловко *подхалтурился*” (примазлся), “*Халтурнуть* девчонку” и т.д., и т.д. Откуда взялось это слово?

Даль во втором издании своего словаря отмечает: “Халтура – пожива, даровая еда, питьё при угощении; от *халтуры* (западн. и южн.), искажённого *хавтуры* (*хавать*) – похороны, поминки”. Через посредство духовенства слово было занесено в столицы и привилось там в театральных кругах в том значении, что мы уже отметили, а оттуда оно пошло в обращение среди населения и сделало, как мы видим, блестящую карьеру. Но для полного понимания причин успехов “халтуры” необходимо, как нам кажется, обратить внимание ещё на одно обстоятельство, не отмеченное Р. Якобсоном.

История слова и его первоначальное значение теперь уже никому непонятны. Однако слово не превратилось в прочную этикетку, припиленную к известному понятию. Слова *халтура*, *халтурить* ощущаются как экспрессивные слова, сильно окрашенные эмоционально. Ведь само явление, то есть развенчанный и опозоренный труд, не воспринимается индифферентно гражданами Р.С.Ф.С.Р.: опозорение труда есть вместе с тем и опозорение самого человека. И вот как бы кто внешне не относился к своей “советщине” – скорбно ли, иронически ли, с надрывной ли шуткой, с разгильдяйским ли танфишизмом – всякому нужно сильное экспрессивное слово, чтобы выразить, а вернее, чтобы замаскировать своё чувство. Таким словом является *халтура*. Почему? А именно потому, что в самой форме слова, точнее в его звуковом составе, русский обыватель нашёл, как ему показалось, эту экспрессивность.

Анекдотический мужик говорит: “Недаром Бог назвал свинью свиньёй. Свинья и есть”. Ему казалось, что звуковая форма слова великолепно характеризует качества свиньи. А уж совсем неанекдотический С.Т. Аксаков в “Записках об уженье рыбы” серьёзно рассуждал о том, что ёрш назван так, чтобы лучше выразить его колючие повадки. – В действительности дело, надо полагать, обстоит как раз наоборот, то есть слова *свинья* и *ёриш* нам кажутся экспрессивными, потому что мы с детства привыкли их связывать с предостережениями об этих двух очень своеобразных животных.

Слог *-хал-* в русском языке представляется очень экспрессивным. Если взять все слова, так начинающиеся, то за исключением двух-трёх, все они обозначают *отрицательные* понятия, к тому же сильно окрашенные эмоционально. “*Халабруй*” – большой, нескладный мужчина. “*Халабруда*” – разгильдяй. “*Халадура*” – всякая дрянь, скарбишка. “*Ха-*

лать” – вспомним: халатное отношение к делу. “*Халда*” – бесстыжий, бесстыжая. “*Халдить*” – таскать без дела, беспутно браниться. “*Хальный*” – нахальный. “*Хал*” – за дешево: “на золото купишь, за хал продашь”. “*Халёный*” – корыстный. “*Халива*” – склока. “*Халкать*” – жадно есть. “*Халтуга*” – хапун. “*Халудора*” – негодяй, шваль. “*Халуй, Халуна*” – избёнка. “*Халява*” – неряха, растрёпа. “*Халять*” – брести, волочиться и т.д. Сюда можно присоединить ещё и слова *захалустье, нахальный*.

Графиня Чарская в разговоре с Нехлюдовым (Толстой. “Воскресение”, ч. II, гл. XIV) великолепно чувствовала эту отрицательную экспрессивность слога *хал* – недаром, чтобы выразить своё пренебрежение к “стриженным нигилисткам”, она сымпровизировала фамилию “Халтюпкин”.

– А это Бог знает кто: Халтюпкина какая-то, хочет всех учить”.

В своё время А.Г. Горнфельд уже обратил внимание на эту поразительно удачную фамилию.

И мы полагаем, что русский обыватель, услышав слова *халтура, халтурить*, ощутил в них ту отрицательную экспрессивность, что уже существует в словах, которые мы только что цитировали, и которая покоится на представлении о бесстыжем разгильдяйстве, беспутности, дармовщине. Хорошее слово! А в общем, почему-то не смешно, а грустно...

Последние новости. 3 февраля 1922 г. № 553 (Второй год издания).



Стихотворное обращение В.И. Даля к А.С. Пушкину

Публикуемое стихотворение, из которого в печати более четверти века тому назад появилось 6 строк (см.: Порудоминский В.И. Даль. М., 1971. С. 158), хранится в Рукописном отделе Российской Национальной библиотеки в составе архива В.Ф. Одоевского – ближайшего сподвижника Пушкина по изданию “Современника” – и представляет собой беловую писарскую копию на трёх сшитых листах с удостоверяющим давлевским автографом *Казак Луганский* (ф. 539, ед. хр. 1494). По смыслу этот поэтический текст тесно связан со статьёй Даля “Во всеуслышание”, присланной им в “Современник” с пометой: Оренбург, 1836 г., 16-го Августа¹. Как уже отмечалось в научной литературе², оба произведения порождены единым творческим импульсом, почему и следует датировать стихотворение летом 1836 года, но не позднее указанного в статье срока. В развернувшейся тогда многоголосой полемике³ Даль безоговорочно выступает на стороне Пушкина против “торгового” направления “Библиотеки для чтения”, выпускаемой с 1834 года профессором Петербургского университета О.И. Сенковским на деньги книгоиздателя А.Ф. Смирдина.

Поначалу многие ведущие русские писатели печатаются в “Библиотеке”, но затем из-за редакторского произвола Сенковского⁴ постепенно отходят от журнала. В частности, в перечне сотрудников на титульном листе значились имена Даля (вернее, его псевдоним Казак Лу-

ганский) и Пушкина. Их произведения дважды соседствовали на страницах “Библиотеки”: в отделе “Русская словесность” в пятом томе за 1834 год появились “Подражания древним” Пушкина и “Сказка о воре и бурой корове” Казака Луганского⁵, в девятом томе за 1835 год – “Песни западных славян”, “Сказка о золотом петушке” Пушкина, “Сказка о нужде, о счастье и о правде” Казака Луганского и здесь же в отделе “Промышленность и сельское хозяйство” статья “О козьем пухе” за подписью *Доктор Даль*⁶. В следующем десятом томе (ценз. разр. от 29 апреля 1835 года) Пушкин помещает “Сказку о рыбаке и рыбке”⁷, после чего прекращает сотрудничество в журнале⁸. И поскольку Даль вплоть до конца 1835 года не публикуется здесь, Пушкин был вправе предполагать в нём единомышленника.

Однако в четырнадцатом томе за 1836 год увидела свет далевская “Сказка о Георгии Храбром и о волке”, во многом перекликающаяся со “Сказкой о рыбаке и рыбке”⁹, к творческой истории которой Даль имел непосредственное отношение¹⁰, и прямо продолжающая конструктивный диалог между сказками обоих писателей¹¹. Дополнительно в тексте содержался намёк, адресующий читательские ассоциации к Пушкину – автору известной “Сказки о царе Салтане”¹²: “Георгий Храбрый был о ту пору занят делами по управлению вверенной ему царём Салтаном области...”¹³. При повторной публикации сказки в отличающейся редакции в 1839 году намёк снимается после введения прямого примечания: “Сказка эта рассказана мне А.С. Пушкиным, когда он был в Оренбурге и мы вместе поехали в Бердскую станицу, местопребывание Пугача во время осады Оренбурга. В. Даль”¹⁴.

Пушкина мог насторожить факт использования сообщённого им сюжета в чуждой ему “Библиотеке для чтения”. Тем более что цензурное разрешение четырнадцатого тома – 31 декабря 1835 года – соответствовало дате пушкинского письма к А.Х. Бенкендорфу с просьбой о разрешении издавать “Современник”¹⁵. Тогда же начались беспрецедентные нападки Сенковского на подготавливаемый Пушкиным журнал¹⁶. Думается, именно поэтому Пушкин и не приглашал Далья к участию в “Современнике”, о выходе которого тот узнал с запозданием и стороной (ср. в стихотворении: “Дошли наконец благодатные слухи”; “Подноси ковш воды; ты меня не звал”).

Понятно, находящийся за две тысячи вёрст от Санкт-Петербурга¹⁷, Даль не сразу вник в тонкости литературной жизни столицы и даже успел поместить великолепную повесть “Бикей и Мауляна” в шестнадцатом томе (ценз. разр. от 30 апреля 1836 года)¹⁸. Но по осмыслению происходящего Даль перестаёт печататься в “Библиотеке”. К тому же и его тексты подвергались редакторскому искажению. В статье “Во всеуслышание” исчерпывающе объяснено: “Каким образом статья, которую я напишу, в которую вылью свои мысли, понятия, чувства, (...) каким образом статья эта является за мою подписью в таком виде, что

содержит намёки и обороты, коих я с намерением чуждался, что проникнута таким духом, в каком я не писал и не стану писать никогда; словом, статья эта явно испятнана рукою недоброжелательного человека...”¹⁹. Одновременно Даль замечает, что “благое направление” “Современника” ещё не вполне соответствует его содержанию, и ратует за объединение писательских усилий для создания подлинно общероссийского журнала²⁰.

Тот же призыв в иноказательной форме выражен и в стихотворении. Сатирическому образу незадачливого откупщика явно приданы черты Сенковского. Казак Луганский гневно порывает с ним: “Проваливай дальние, кому хошь подноси!” Раёшный стих сближает произведение, с одной стороны, с далевскими “Русскими сказками...” (1832), в которых пословично-поговорочная речь то и дело ритмизуется, а с другой – с пушкинской “Сказкой о попе и о работнике его Балде”²¹. Тем самым притча об откупщике, вслед за “Сказкой о Георгии Храбром”, включается в диалог между сказками Пушкина и Даля. Полагаем, всё это вместе взятое отвело возникшее было у Пушкина сомнение и позволило восстановить дружеские отношения.

Изложенная Далем притча – а по сути памфлет – предполагает и расширительное толкование, ибо может относиться ко многим сходным общественным явлениям. Стихотворение нисколько не утратило своей актуальности за прошедшие 160 лет. А прекрасный русский язык, искренность интонации, свобода композиционного построения, по нашему мнению, достойны внимания истинных любителей отечественной поэзии.

В публикации максимально сохранены особенности оригинала, однако с учётом требований современной графики и пунктуации.

*Ю.П. Фесенко,
кандидат филологических наук
Луганск,
Украина*



Казак Луганский

АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВИЧУ ПУШКИНУ

Дошли наконец благодатные слухи
До степей, которые глухи и сухи,
– Где, однако ж, витает²² народ,
У которого, не хуже людей, свой лоб и рот,
Свои пять пальцев, свой ум, свой кум,
Да есть, с кем душу отвести, односум, –
Дошли, говорю, слухи и до нас,
До жителей кромешных, про пиво да про квас.
Благослови вас Господь на доброе дело!
Пора, давно пора, и время пришло;
Настало ныне время – время скудно и чудно,
Что на сердце тошно и трудно и нудно;
Руки опустились, работа опостыла,
Нет ни воску, ни лоску, ни мыла,
Охоту дело делать отбили гладко –
И говорить и слушать так скучно и гадко.

А помянул я слово, про пиво да про квас:
Да есть, никак, поговорка у нас:
Часом-де с квасом, а порою с водою.
Оно так – и вода Божий дар, с неё нет и запою,
Пей воду, что гусь, коли нет вина;
Да и тут, вишь, как всюду, пора не равна.
Коли я зашёл к тебе: дай, брат, напиться!
А у тебя, на ту пору, кваску не случится,
Так чествуй меня тем, что Бог послал;
Подноси ковш воды; ты меня не звал,
И в гости не ждал, и вина не обещал;
А коли ты затеял пир на весь мир,
Коли сам расславил, что богат, как Кир,
Что будет-де всякая причина и махина,
Будут всякого калибра яства и вина –
Да зазвавши посадишь за хлебец с водой,

Так ведь тут иной скажет: дуй-те горой!
– а не всё ж один учливый люд на свете,
Есть и у меня один нахал на примете –
Скажет: дуй-те горой, и с пресной водой!
А коли кто ещё станет вином торговать,
Да замест вина, станет воду продавать?
А коли кто его, вино, ещё на откуп возьмёт,
Единоторясец какой, откупщик, да нальёт
В винную бочку да пресной воды,
И станет – да тут и не оберёшься беды!
Станет отпускать вам за деньги водицу,
Так что сказать вам про такую птицу?
Как его чествовать и как назвать,
Чтобы попристойнее пройдохой обругать!
А коли он ещё, замест воды простой,
Да станет продавать поганый настой,
Болотную, мутную, либо морскую воду,
А сам знай славить будет по народу,
Станет божиться вам, клясться в глаза,
Что вы-де, Господа, не смыслите ни аза,
Коли скажете, что пойло моё не вино;
Вот это-то самое и есть оно;
А всё прочее иное, хоть и пьяно, да не вино;
Моё, правда, солоновато, это я знаю,
Да соль – душа жизни, затем её и подсыпаю;
Соль – кобылка моя, на ней-то я и выезжаю!
Пейте, други мои, пейте; пейте, да не лейте!
А и пуще того, денег не жалейте:
Я один только и варю про вас путное пиво;
Да какое ж пиво! Это пиво – на диво!
Пейте, друзья, пейте пиво это,
Пейте зиму и пейте лето;
А опричь моего пива, другого не пейте:
И подумать о том, чтобы пить, не смейте;
Не то – ко мне его, так уж я, для вас,
Подслащу его солью, и выйдет – хоть квас;
Либо уж просто – да только пить не смейте –
Просто в помойную яму лейте;
Туда ему и дорога, что с ним и возиться!
Оно – скажу, не отведав, – никуда не годится!
Ой, братья мои, с таким человеком –
Нехотя согресишь и людей насмесишь!
С таким человеком да нашим веком,
Где всё уже в рост и в цвет пошло –

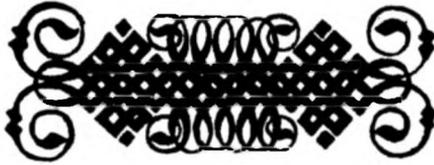
На свете жить и совестно и тяжело.
Всяко дело, на своём месте, пригодно и живёт;
А соль его к вину, да к пиву нейдёт.
Да и соль его не соль, горчавка, прогнойка,
А вино его – какая-то недобрая настойка.
И захотел он один и кутить и мутить,
И заряжать и палить, и разливать и обносить,
И спасать и топить, и месить и варить,
Клеить, ворожить, пить, лить и шалить –
Сам и пашет, сам и сеет, сам молотит, сам и веет,
Сам мелет, сам жуёт, сам и деньги с нас бреет²³ –
Да это, братцы мои, беда бедой!
Эдак пропадёшь ты совсем, и с головой;
Собьют тебя с ладу, собьют тебя с толку –
Уйдёшь от лисы, так попадёшь к волку!
А волк и лиса и иной скот и зверь
Он один всё и есть: хоть возьми да примерь!
И что мне в том, что откупщик наш безымянка,
Коли он докучлив, как пьяная нянька?
Да легче мне от того, что он невидимка.
Сегодня Фома, а завтра Епифан да Климка²⁴?
Ужимки одни и ухватка одна,
И несёт от него гарью вместо вина –
Нахлобучит, что шаловливый школьник, шапку,
Да и норовит провести и мамку и папку,
И своих парнишек и прочий народ:
Авось-де не признают, скажут: это не Федот;
Это чужой какой-то, надо быть, бука –
То-то, сердечный, хитра твоя штука!
Да ломай ты шапку хоть на тридевять ладов,
Подбирай чинов и званий сорок сороков,
Прикидывайсь путным, кричи сам, что толков,
Что я-де не я, а я вот кто таков;
Так ведь каргу-птицу знать по говору, по насесту,
А тебя, молодца, – по причинному месту;
А причинное твоё место – продажная совесть;
Вот вам, про откупщика нашего безгрешная повесть!
Видю я, вижу, знаю я его ухватку;
– а вольно было избаловать, дать ему повадку –
Видю я, сердечный, что ты затеваешь:
В чару зелена вина дурмана подсыпаешь,
Сам, на сто ладов, варакушкой сокочешь,
За слово прямикое опонить меня хочешь –
Не пью я твоего²⁵ пойла, меня обноси;

Проваливай дальше, кому хошь подноси!
Господь с тобою; морочь, поколе верят –
А как этот колпак на твою голову примерят,
Тогда-ну, тогда будет что будет. Прощайте;
Нас, грешных, в захолюстье нашем не забывайте;
Посылаем сердечный поклон свой для вас –
А вы скажите людям притчу, про пиво да про квас.

Комментарии

- ¹ См.: Русский архив. 1880. Кн. 3. С. 480.
- ² См.: Порудоминский В.И. Даль и Пушкин // Русская речь. 1988. № 1. С. 13.
- ³ См. об этом: Еремин М.П. Пушкин-публицист. М., 1976. С. 372–408; Кулешов В.И. Жизнь и творчество А.С. Пушкина. М., 1987. С. 357–362; Гиллельсон М.И. Пушкинский “Современник” // Современник. Литературный журнал, издаваемый Пушкиным: Приложение к факсимильному изданию. М., 1987. С. 5–11.
- ⁴ Правка авторских текстов проистекала, кроме всего прочего, из намерения Сенковского перенести польскую литературную культуру на русскую почву (см.: Каверин В.А. О.И. Сенковский /Барон Брамбеус/ Жизнь и деятельность // Каверин В.А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1966. Т. 6. С. 340–341, 473–474 и др.).
- ⁵ Библиотека для чтения. 1834. Т. 5. Отд. I. С. 20, 195–203.
- ⁶ Там же. 1835. Т. 9. Отд. I. С. 5–32, 111–117, 177–210. Отд. IV. С. 17–28.
- ⁷ Там же. Т. 10. Отд. I. С. 5–11.
- ⁸ И сразу же активизирует попытки по подготовке собственного периодического издания (см.: Еремин М.П. Указ. соч. С. 313–315; Кулешов В.И. Указ. соч. С. 355–356).
- ⁹ Например, в обеих сказках герои (соответственно старик и волк) пятикратно обращаются за помощью (соответственно к золотой рыбке и Георгию Храброму), и после каждой выполненной просьбы их положение ухудшается.
- ¹⁰ По воспоминаниям П.И. Мельникова (Андрея Печерского), Пушкин подарил Далу эту сказку в рукописи с надписью: “Твоя от твоих! Сказочнику казаку Луганскому, сказочник Александр Пушкин” (Русский вестник. 1873. № 3. С. 298).
- ¹¹ См. об этом мою заметку: Дарственная надпись А.С. Пушкина В.И. Далю // Русская филология. Украинский вестник. 1994. № 4. С. 22–23.
- ¹² “Сказка о царе Салтанс” датирована 29 августа 1831 года, напечатана в 1832 году в третьей части “Стихотворений” Пушкина.

- ¹³ Библиотека для чтения. 1836. Т. 14. Отд. I. С. 137.
- ¹⁴ Были и небылицы Казака Луганского. СПб., 1839. Кн. 4. С. 101.
- ¹⁵ См.: Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.-Л., 1949. Т. XVI. С. 69–70.
- ¹⁶ О взаимоотношениях Пушкина и Сенковского см.: Каверин В.А. Указ. соч. С. 351–356; Новиков А.Е. Сенковский и Пушкин / К постановке проблемы // Пушкин и русская культура: Доклады на международной конференции в Новгороде (26–29 мая 1996 года). СПб.-Новгород, 1996. С. 104–108.
- ¹⁷ Даль служил тогда чиновником особых поручений в Оренбурге. Напомним, что первый том “Современника” вышел в апреле 1836 года (ценз. разр. от 31 марта 1836 года) и, конечно же, оказался в оренбургской провинции с некоторым опозданием.
- ¹⁸ Библиотека для чтения. 1836. Т. 16. Отд. I. С. 171–259.
- ¹⁹ Русский архив. 1880. Кн. 3. С. 475.
- ²⁰ Там же. С. 479.
- ²¹ С пушкинской сказкой послание Даля сближает не только ритмика, обилие паремий, просторечие. Образ откупщика по своей простоватой хитрости, “безотказному” выполнению множества работ сродни образу Балды, но с противоположным оценочным знаком.
- ²² В оригинале слово *витает* позднее переправлено на *обитает* чернилами синего цвета, в то время как весь текст написан чёрными чернилами. Нами сохранено первоначальное написание. *Витает* здесь в значении *обитает, проживает* (см.: Даль В.И. Толковый словарь. М., 1989. Т. I. С. 207).
- ²³ Как и в предыдущем случае, слово *бреет* переправлено теми же синими чернилами на *берёт*. Это позднейшее исправление нами опущено.
- ²⁴ Здесь и ниже содержится намёк на многочисленные псевдонимы Сенковского: Барон Брамбеус, Тютюнджю-Оглу, П. Снегин, А. Белкин, Карло Карлини и др.
- ²⁵ В оригинале в слове *твоего* перед буквой *г* и ниже в слове *хоть* после буквы *о* стоит апостроф. В Словаре Даля апостроф определён как “надстрочная кавычка, означающая пропуск буквы”.



Привносит ли лексиколог системность в лексику?

Эр. ХАН-ПИРА,
кандидат филологических наук

“Слова и их значения живут не отдельной друг от друга жизнью, но соединяются... независимо от нашего сознания в различные группы, причем основанием для группировки служит сходство или прямая противоположность по основному значению”

М.М. Покровский

“Высказывается мнение, что различие классификаций лексики – неопровержимое свидетельство того, что система привносится в лексику исследователями, а не является исконно присущим ей свойством”

И.П. Слесарева

В ряде терминоведческих работ встречается утверждение, что терминология какой-либо области знания (науки, научной дисциплины) или отрасли специальной деятельности есть некое множество терминов, не представляющее собой систему, неструктурированное множество. Но вот, мол, данной терминологией начинают заниматься иссле-

дователи (терминоведы), и благодаря их статьям, книгам, терминологическим словарям она превращается в терминосистему. Другими словами, согласно этому мнению, системность привносится в терминологию терминоведами. Мне приходилось печатно не соглашаться с таким взглядом. Кстати, видимо, с этой точкой зрения логически связано и то понимание термина, при котором в качестве одного из необходимых его признаков, отличающих термин от обычного слова (или обычного устойчивого словосочетания), выступает присутствие дефиниции (определения), т.е. раскрытие содержания научного (теоретического) или специального понятия, закрепленного за этим словом. Иначе говоря, чтобы получить право на статус термина, данному слову (или устойчивому словосочетанию) необходимо сначала обзавестись дефиницией.

Нетрудно заметить, что в таком случае не может быть и речи о терминологии (как таковой) древних народных ремесел (гончарного, кузнечного и др.): ведь при возникновении этих терминологий, а потом и в течение столетий их термины оставались без дефиниций и, значит, не были терминами, а без терминов нет терминологии. Стало быть, прежде чем браться за превращение терминологии в терминосистему, надобно еще и терминологию породить, создавая дефиниции.

Терминологии принадлежат лексике. Если мысль о наличии дефиниции как одном из необходимых признаков термина довести до логического конца, до *reductio ad absurdum* (приведение к абсурду), то тогда нельзя и обычное слово считать словом до появления его толкования. Из чего с неизбежностью следует, что этносы, не имевшие письменности, не имели языка слов...

Возвратимся к вопросу о системности лексики: любая терминология системна изначально, объективно. Она – отражение “логики вещей”. Исследователи терминологий не привносят в них системность, а обнаруживают ее, выявляют с той или иной степенью точности, адекватности.

Конечно, в отличие от обычной лексики, терминологическая лексика легче поддается описанию (кодификации) и нормализации, т.е. роль субъективного фактора в ее бытовании выше, чем в нетерминологической лексике (уже хотя бы в силу обозримости состава каждой из терминологий и круга их носителей). Однако все это не отменяет объективной сущности системы в терминологии.

Объективна и системность обычной лексики. Если под системой разуметь некоторое множество взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, то лексика обладает этими признаками без помощи лексикологов. Они лишь обнаруживают ее и описывают, делают явной.

Меня заставило вспомнить об этом и заново обдумать полемику о природе системности в терминологии и в лексике в целом начало доклада, сделанного в мае 1998 г. на ученом совете Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН академиком Н.Ю. Шведовой и посвя-

щенного теоретическим основам работы над “Русским семантическим словарем”. Н.Ю. Шведова отметила, что часть лексикологов полагает системность существующей в лексике объективно, имманентно. Другие же лексикологи считают системность лексики привнесенной исследователями. Коллектив составителей названного словаря придерживается первого мнения, с которым трудно не согласиться.

Возьмем простой пример. В первой половине XIX века по железным дорогам вагоны тянула машина, которую называли словом *локомотив*, а в русском языке у этого заимствованного слова был абсолютный синоним *паровоз*. Но вот одно за другим на рельсах появились другие средства тяги – *тепловоз*, *электровоз*, *турбовоз*. Отношение смыслового равенства между *локомотив* и *паровоз* исчезло: *локомотив* стал родовым названием (гиперонимом), а *паровоз* – одним из видовых (гипонимов).

Между понятием, которое теперь является лексическим значением слова *локомотив*, и понятиями, составляющими лексические значения слов *паровоз*, *тепловоз*, *электровоз*, *турбовоз*, установились родовые отношения (отношения субординации), а между словами *паровоз*, *тепловоз*, *электровоз*, *турбовоз* – отношения соподчинения (координации). Всякий паровоз есть локомотив, но не всякий локомотив – паровоз, всякий тепловоз есть локомотив, но не всякий локомотив – тепловоз и т.д. С появлением других средств тяги слово *локомотив* расширило свое значение. В нем осталась только архисема, только интегральный признак (в логике его называют *родовым*) – “средство тяги на рельсах”. А в лексических значениях четырех остальных слов к этой архисеме добавились семы, отличающие лексическое значение этих слов друг от друга, – дифференциальные признаки (в логике это называют *видовые признаки*).

Почему же носителями русского языка было выбрано на роль родового названия (гиперонима) слово *локомотив*? Не потому ли, что у него нет в русском языке внутренней формы, а четыре других ее имеют, и она прямо указывает на видовой признак каждой данной тяговой машины?

Разве лексикологи отменили отношения синонимичности между *локомотив* и *паровоз*? Разве это не объективный ход вещей, не появление новых видов тяговой техники?

Объективно возникла лексико-семантическая группа слов (ЛСГ), связанных отношениями субординации и координации, т.е. противопоставлениями (опозициями) рода и вида и противопоставлениями видовых признаков (дифференциальных признаков) друг другу при единстве архисемы (интегрального признака).

Синонимический ряд *локомотив* – *паровоз* распался, превратившись в ЛСГ с появлением слова *тепловоз*. Эта ЛСГ стала открытой минисистемой не по воле лексикологов, а благодаря возможностям

технической мысли и техники. Каждое новое слово, называющее новый вид тяговой машины, включалось на правах согипонима в эту ЛСГ, одновременно вступая в отношения субординации с гиперонимом.

Вот как отражает отношения между членами этой ЛСГ “Толковый словарь русского языка” С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой:

Локомотив. Машина, движущаяся по рельсам и предназначенная для передвижения поездов.

Паровоз. Локомотив с паровым двигателем.

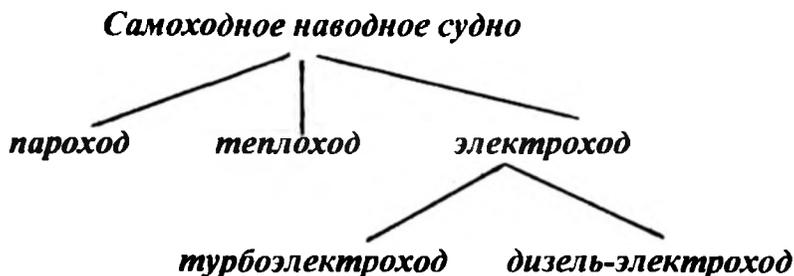
Тепловоз. Локомотив с двигателем внутреннего сгорания.

Электровоз. Локомотив, работающий от электрической сети.

Турбовоз. Локомотив, основным двигателем которого является газовая турбина.

Все толкования гипонимов даны через ближайшее родовое название (ближайший род).

Другая ЛСГ, содержащая наименования самоходных средств передвижения по воде, не имеет однословного названия для ближайшего рода. Появление после парохода теплохода привело к возникновению ЛСГ, где роль родового названия выполняет не слово, а словосочетание *самоходное надводное судно*. Эту ЛСГ можно представить в такой схеме:



Видовое название (гипоним) *электроход* по отношению к *турбоэлектроход* и *дизель-электроход* выступает как родовое (гипероним).

Интересно, что не только в словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, но и в однотомном энциклопедическом словаре *пароход*, *теплоход*, *электроход* определяются через *судно*, хотя это слово называет не ближайший род. В упомянутом толковом словаре *судно* поясняется так: “Плавающее транспортное средство для перевозки людей и грузов, для военных целей, водного промысла, спортивных состязаний. *Самоходное судно*. *Несамоходное судно* (буксируемое, парусное или гребное)”. А если учесть, что в языке есть и *воздушные суда*, то, видимо, слово *судно* – самое высокое родовое название, затем следуют *воздушное судно* и *водное судно* (последнее в свою очередь родовое название

для самоходных и несамоходных водных судов, а *самоходное водное судно* – родовое наименование по отношению к *самоходное надводное судно* и *подводное судно*). Отсутствие в языке однословного родового названия для согипонимов *пароход*, *теплоход*, *электроход* объясняет, кажется, бытование в речи неспециалистов в роли такого наименования слова *пароход*, так сказать, по совместительству. Можно предположить, что это расширение значения: устранены все видовые семы, оставлена только архисема *самоходное надводное судно*, т.е. оставлен только интегральный признак. И здесь полезно будет воспользоваться термином *привативная оппозиция* (*привативное противопоставление*), возникшим в фонологии, но теперь применяемым и в морфологии. Оно и понятно: противопоставления пронизывают язык, он как бы прошит, скреплен ими. Они существуют на всех его уровнях. Привативная оппозиция – это такое противопоставление языковых единиц, при котором одна из них имеет дифференциальный признак, а другая его лишена. Возьмем слова *преподаватель* и *преподавательница*, первое может употребляться как название лица мужского или женского пола, либо лиц мужского и женского пола совместно. Следовательно, первое слово способно выступать в позиции нейтрализации грамматического значения рода. Эту позицию называют слабой, а такой член противопоставления именуют немаркированным (неотмеченным, беспризнаковым). Второй член оппозиции имеет дифференциальный признак. Это маркированный (отмеченный, признаковый) член оппозиции. Он находится в сильной позиции.

Или вот слова *лошадь*, *жеребец*, *кобыла*. В лексическом значении первого нейтрализованы семы, указывающие на пол животного, т.е. нейтрализованы дифференциальные признаки, а в лексическом значении двух других они есть. Первое слово в слабой позиции (немаркированное), а два других – в сильной. *Очи* – *глаза* – *моргалки*, *гляделки*, *зенки*. *Глаза* не имеют стилистического значения (стилистической окраски), стилистически нейтральны. У других есть стилистические дифференциальные признаки. *Глаза* – немаркированный член оппозиции. Без его наличия, его фона не воспринималось бы как высокое слово *очи* и не имели бы стилистического значения три других. Их маркированность существует лишь на его фоне.

Вернемся к слову *пароход*. Не имеет ли в разговорной речи *пароход* фактически два лексических значения, в одном из которых он находится в сильной позиции, а в другом (расширенном, разговорном) – в слабой? В первом значении *пароход* – маркированный член оппозиции, а во втором – немаркированный (отсутствуют дифференциальные признаки). И уж, конечно, как немаркированный член оппозиции выступает *пароход* в качестве основы слова *пароходство* при отсутствии в языке слов *теплоходство*, *электроходство*.

Случай со словом *пароход* напоминает судьбу слова *насекомое* в раз-

говорной речи. *Насекомое* – родовое название. Однако в разговорной речи этим словом именуют и один из видов насекомых – вошь. Этот случай – обратный случаю со словом *пароход*: последнее выступает в разговорной речи в амплуа родового, немаркированного названия.

Из рассмотрения двух ЛСГ, входящих в тематическую группу “транспортные средства” на правах части целого, видно, что мысль лексиколога лишь отражает с той или иной степенью точности объективно сложившиеся отношения и связи между как самими вещами, так и их названиями.

Оппозиции рода и вида, части и целого, дифференциальных признаков не привносятся лексикологами в лексику, но выявляются, обнаруживаются ими.



Нервы и невры

И. А. ШИРШОВ.

доктор филологических наук

Однажды на Тамбовщине автору этих строк пришлось услышать фразу “У меня прямо невры расходились”. Сочетание *невры расходились* близко фразеологическому обороту и означает “прийти в возбужденное состояние”. Фразеологический оборот возникает в языке не вдруг, он плод длительного употребления, а, значит, и слово *невры* появилось не сейчас.

В общенародном же языке функционируют другие фразеологические обороты: *на нервы действовать*, *на нервах играть*, *нервы тревожить*, *нервы мотать*. В них употреблено слово *нервы*, и на его фоне *невры* выглядит искаженным. Эта мысль поддерживается близостью значений фразеологических оборотов с данными словами, ср.: *действовать на нервы* “приводить в раздраженное состояние” и *невры расходились* “прийти в возбужденное, раздраженное состояние”. Можно предположить, что сходство образного содержания этих оборотов говорит о его возникновении на базе одной единицы, которая в общенародном языке имеет одну огласовку, а в диалекте – другую.

Но это только кажется. В самом деле, в общенародном языке есть слова *неврит*, а не *нервит*; *невропатия*, а не *нервопатия*; *невродиспансер*, а не *нерводиспансер*. С другой стороны, а общенародном же языке есть слова *нервничать*, а не *неврничать*; *нервотрепка*, а не *невротрепка*. Реальностью является функционирование в языке двух корней *-нерв-* и *-невр-* и дополнительное распределение: там, где употребляется один корень, не может употребляться другой. Употребление каждого корня закреплено позиционно, например, перед суффиксом *-ит* – *невр-* (*неврит*), а перед *-изм* – *невр-* (*невризм*).

Свободное варьирование наблюдается только в одной паре *нервы* – *невры*. Сама процедура анализа вроде бы дает основание для объединения в одну морфему, но этому препятствует ряд обстоятельств. Данные корни имеют различное происхождение: *нерв-* заимствован из латинского языка, а *невр-* – из греческого (об этом далее). Если свободный корень *нерв-* (*нерв*, *нервный*) и связанный корень *невр-* (*невроз*, *невропатия*) функционируют в общенародном языке, то свободный корень *невр-* (ср. *невры*) – в диалекте. Причем, его “свобода” не первична, не исходна, как у корня *нерв-*, а вторична.

Сначала в русском языке появились слова типа *невроз*, *неврология*, а уж потом – слово *невры*. Общая тенденция в языке – это превращение свободных корней в связанные, ср. *вергати* – *ввергать*, *отвергать*. Обратный процесс, т.е. приобретение связанным корнем свойств корня свободного, – скорее, нарушение правил, чем его подтверждение. Но если есть хоть один факт высвобождения связанного корня, он будет свидетельствовать о потенциальности этого процесса, о стремлении носителей языка осмыслить иноязычную единицу как собственно русскую, “встроить” ее в языковую систему.

Функционирование связанного корня в серии членимых слов позволяет носителям языка осмыслить его как базовую единицу, лежащую в основании этих слов. В высвобождении связанного корня просматривается тенденция восстановить исходный пункт словообразовательного процесса, осмыслить мотивационные отношения по-новому.

Специфика корней разного типа выявляется в словообразовательных гнездах, которые делятся на “связанные” (со связанным корнем и “свободные” (со свободным корнем). Рассмотрим, как устроены подобные гнезда.

В одно гнездо включаются слова, содержащие связанный корень *невр-*, ср.: *невралгия*, *неврастения*, *неврит*, *невродиспансер*, *невроз*, *неврология*, *неврома*, *нейрон*, *невропатия*, *невропатология* и производные от них. Что эти слова членимы, сомнений не возникает. Но они также входят и в разряд слов производных, только производность их особая. Они “сделаны” рукою мастера или из связанного корня и целого слова (*невродиспансер*), или из двух связанных корней (*неврология*), или из связанного корня и аффикса (*неврит*). Они возникли в резуль-

тате сознательной деятельности ученых как термины интернационального характера. Исходной базой при этом выступил корень *невр-*, извлеченный из греческого слова *νευρον* “жила, нерв”.

Так, слова *неврастения*, *невродиспансер* образованы сложением связанного корня *невр-* и целых слов: *астения* (греч.) “бессилие”, *диспансер* (франц.). Слово *невропатология* содержит русский элемент – соединительную гласную *-о-*, сочетающуюся со связанным корнем *невр-* слева и словом *патология* – справа. Эта же соединительная гласная выделяется в словах *невр-о-лог-и-я*, *невр-о-пат-и-я*, в которых суффикс *-и-я* со значением “наука” свидетельствует о русском характере слов, хотя вторые корни *-лог-* и *-пат-* извлечены из греческих слов *logos* “учение” и *patos* “страдание”. Русский суффикс *-и-я* оформляет основу слова *невр-алг-и-я*, в котором второй корень извлечен из слова *algos* (греч.) “боль”.

Корень *невр-* способен и сам соединяться с суффиксами. Так, в слове *невроз* суффикс *-оз* имеет значение “заболевание”, как и в словах *тромбоз*, *фурункулёз*. В слове *неврит* суффикс *-ит* передает значение “воспаление”, как и в словах *бронхит*, *плеврит*. В слове *неврома* суффикс *-ом* (а) имеет значение “опухоль”, как и в словах *саркома*, *лейкома*. В слове *неврон* суффикс *-он* употреблен в значении неодушевленного предмета, как и в слове *нейрон*.

Сочетаясь с суффиксами, связанный корень выступает в качестве базовой основы, как и корень свободный. Принято считать, что связанный корень – это вычленяемая из слова морфема, не способная к словопроизводству. Приведенные слова говорят об обратном: связанный корень формирует целое гнездо. Структурная и семантическая очерченность этого корня дают ему полную свободу в слове *невры*, но оно опоздало занять позицию вершины гнезда.

В целом связанный корень *невр-* и сочетающиеся с ним корни и суффиксы формируют поле с названием болезней нервов, нервной системы, ср.: *невралгия* “местные боли по ходу какого-л. нерва”, *неврастения* “расстройство нервов, нервной системы”, *неврит* “воспаление нерва”, *невродиспансер* “диспансер, в котором лечат нервы”, *неврология* “наука, изучающая нервы, нервную систему, в том числе ее болезни”, *неврома* “опухоль из мягкотных или безмякотных нервных волокон”, *невропатия* “заболевание нервов без постоянных патологических изменений”.

Рядом со связанным гнездом существует свободное гнездо, которое возглавляет свободный корень *нерв*. Он заимствован из латинского языка, ср. *nervus* “жила, нерв”. В русском языке слово *нерв* имеет три значения: 1. Один из тончайших отростков-волокон, соединяющих мозг со всеми органами и управляющих деятельностью организма. *Зрительный нерв*. *Слуховой нерв*. 2. мн. ч. Вся такая система в целом, определяющая деятельность организма и поведение человека. *Крепкие*

нервы. Нервы напряжены. Нервы расстроены. 3. перен. Центр какой-л. деятельности. Москва – финансовый нерв страны.

Эти значения обладают разной словопорождающей способностью. Третье значение не дало ни одного производного. Первое значение, узкотерминологическое, легло в основание всего двух слов:

Нервный. 1. Относящийся к нерву. *Нервная клетка.* 2. Вызванный заболеванием нерва, нервов. *Нервный тик. Нервный припадок.*

Нервический. 1. Вызванный заболеванием нерва, нервов. *Нервический припадок.*

Причем второе значение слова *нервный* и первое значение слова *нервический* базируются не только на первом значении слова *нерв*, но и на втором, т.е. их семантика имеет диффузный характер. Сама диффузность проистекает из понимания нервов как системы, которая и отражается в производных.

Истинной вершиной гнезда является второе значение слова *нерв*, равное по смыслу устойчивому сочетанию *нервная система*. Именно оно легло в основание семантики производных, возникших на первой ступени словообразования, ср.: *Нервный.* 3. Связанный с повышенным возбуждением, раздражением нервов. *Нервное переутомление. Нервический.* 2. То же, что *нервный* в 3-м знач. *Нервический характер. Нервировать.* Раздражая нервы, приводить в возбужденное состояние. “*Возможное появление контролера нервировало безбилетника*”. *Нервотрепка.* Трепка нервов, состояние крайнего напряжения нервов. *Нервизм.* Учение о ведущей роли нервов, нервной системы в деятельности организма, созданное И.П. Павловым. *Нервишки.* Уничжительное и (реже) ласкательное к *нервы*.

Сюда же следует отнести и слово *нервозный* в значении “связанный с раздражением, возбужденностью нервов”, ср. *нервозное состояние*. И хотя формально оно соотносится со словом *нервоз*, семантической связи между ними нет, так как последнее обозначает заболевание, вызванное расстройством нервов. Это слово оказалось нежизнеспособным в русском языке, устарело и фактически выпало из языка. Создание этого слова не укладывается в систему, так как значение “заболевание” передается словом *невроз*, основные характеристики которого оно и дублирует. Этот факт – лишний аргумент в пользу того, что гнездо со связанным корнем *невр-* и гнездо со свободным корнем *нерв-* покрывают друг друга. Слово *нервозный* соотносится со словом *нерв* и выделяет в своей структуре суффикс *-озн-*, как и слова *венозный* (от *вена*), *гриппозный* (от *грипп*), *медикаментозный* (от *медикамент*).

Производные второй ступени, осваивая семантические приращения первой ступени, расширяют поле “нервности” возбужденного состояния. Последнее так или иначе, прямо или косвенно, связано с состоянием субъекта, ср.: *нервно моргать, нервически смеяться, в лице излишняя нервность, нервозно реагировать на замечания, нервничать перед*

операцией. Чем больше ускоряется бег жизни, тем острее реагирует на него личность, тем утонченнее становится языковая палитра. Это отчетливо видно на производных третьей ступени, где завершается развертывание гнезда. Здесь образуются по преимуществу глаголы.

Так, глагол *нервничать* обозначает действие, замкнутое в субъекте. Сочетаясь с префиксами, он начинает модифицироваться, например: *занервничать* “начать нервничать”, *понервничать* “нервничать некоторое время”, *перенервничать* “нервничая сильно и долго, почувствовать себя плохо”, *изнервничаться* “нервничая все больше и больше, прийти в утомленное состояние”.

Гнездо со связанным корнем разворачивается иначе. Большинство производных в нем появляется на второй ступени по одной модели морфонологических преобразований производящих – с усечением суффикса *-иј* (а):

невропатолог(и-я) – невропатолог-ическ(ий)

невропат(и-я) – невропат-ическ(ий)

невролог(и-я) – невролог-ическ(ий)

неврастен(и-я) – неврастен-ическ(ий)

невралг(и-я) – невралг-ическ(ий)

неврастен(и-я) – неврастен-ичн(ый)

неврастен(и-я) – неврастен-ик

невропатолог(и-я) – невропатолог

И только в одном слове представлена другая морфонологическая модель – нерегулярное чередование [з] – [т]: *невроз – неврот-ическ(ий)* и *неврот-ик*. На этой ступени реализовано всего три типа словообразовательных значений: относительности, ср. *невралгический*; качественности, ср. *неврастеничный*; лица, ср. *неврастенник*, *невропатолог*.

Третья ступень представлена всего двумя производными – *неврастенничность* и *неврастенничка*. На этом словопорождающие способности связанного корня *невр-* заканчиваются, они фактически затухают на второй ступени. Примечательно, что в данном гнезде нет ни одного глагола и ни одного наречия, это гнездо чисто именного типа.

Таким образом, слова *нервы* и *невры* имеют как сходство, так и различие. Сходство заключается в том, что у них одно лексическое значение “нервная система”, выраженное формой мн. числа, которое тяготеет больше к словообразованию, чем к формообразованию. В силу этого слово *невры* не имеет формы единственного числа. Сходны они и в том, что в форме множ. числа в них функционирует свободный корень.

Весьма существенны различия между ними. Корень *нерв-* сформировал чисто русское гнездо, где каждое производное образовано с помощью русских словообразовательных средств. В нем доминирует значение возбужденности, раздражительности. Появившиеся здесь слова *невроз* и отмеченное В.И. Далем *неврология* устарели и выпали из язы-

ка, так как в значении болезни их место оказалось занятым словами *невроз* и *неврология*.

Связанный корень *невр-* на первой ступени сформировал интернациональную часть гнезда (*невралгия*, *неврит*), а на второй и третьей ступени – чисто русскую (*невралгический*, *неврастеничка*). Если две последних ступени дали производные спонтанного, народного характера, то производные первой ступени – плод словотворчества отдельных ученых, авторство которых может быть установлено при изучении научных текстов. В этом гнезде доминирует значение болезни.

В целом же как свободный корень *нерв-*, так и связанный корень *невр-* обладают равной словопорождающей силой: в современном русском языке к каждому восходит по 26 производных, которые не дублируют, а дополняют друг друга.

Сочетание “невры расходились” свидетельствует о вторжении одного гнезда в систему другого.

Из архива ученого

Подснежник

В.М. ДЕРИБАС,
кандидат филологических наук

Причины появления новых значений у слов разнообразны, среди них немаловажная роль принадлежит переносному, образному и метонимическому их употреблению. Показательно в этом отношении постепенное обновление переносных употреблений у слова *подснежник*.

Слово *подснежник* “многолетнее луковичное растение”, по данным “Словаря современного русского литературного языка”, впервые зафиксировано в “Толковом словаре” В.И. Даля (1865). Однако нами отмечена более ранняя его лексикографическая фиксация в “Ботаническом словаре” Н.М. Максимовича-Амбодика (1808). Впоследствии слово включалось и в другие специальные словари, например, в “Терминологический медицинский словарь” Л. Гринберга (2-е изд., 1864).

В специальной литературе ботанический термин *подснежник* (галтантус) используется для обозначения свыше десяти произрастающих видов этого рода луковичных растений.

В.И. Даль в своем “Толковом словаре” указывал, что слово *подснежник* представляет собой “довольно общее название растений, цветущих тотчас по сходе снега”. В “Толковом словаре русского языка” под ред. Д.Н. Ушакова у слова *подснежник*, помимо основного значения “растение из семейства амараллисовых с белым поникшим цветком”, выделяется дополнительный оттенок значения “название некоторых других растений, зацветающих ранней весной, сразу же после таяния снега”. “Словарь русского языка” в 4-х тт. отмечает у этого слова уже два значения, относя к разговорному второму: “название ряда травянистых растений, зацветающих сразу после таяния снега”. Приведем примеры употребления слова *подснежник* в этом значении (в словаре они не даны): “Все эти растения (медуницы, ветреницы и др. – В.Д.), действительно, подснежники – их развитие идет еще зимой под снегом” (Веч. Москва. 1959. 18 апр.); “Весну цветов открывает сверхранний первенец – мать-мачеха. Этот золотой подснежник растет на солнечных глинистых склонах и распускается раньше всех трав” (Дм. Зуев. Времена года. М., 1956. С. 11); “...ранней весной вырастают прекрасные грибы. Грибные подснежники! Как-то даже не верится” (Вл. Солоухин. Третья охота. М., 1968. С. 128).

Однако помимо этих фиксируемых в толковых словарях значений у

слова *подснежник* развились и новые. Толчком к появлению переносных значений у данного слова послужило скорее всего употребление его в сравнении: “На праздничной поляне Сарафанный день. Девки, как подснежники, Белы да горячи” (В. Каменский. Иван Болотников) (1934); “И вдруг я почувствовал в ледяном одиночестве, которое нахлынуло на меня и превратило мое сердце в жесткий комок – робким, ласковым подснежником возникла эта девушка” (Ю. Яковлев. Моя дочь Ньюша).

Образное употребление слова *подснежник*, видимо, и привело к постепенному возникновению у него новых значений. Отметим их.

Вследствие переноса названия растений на другие неодушевленные предметы у слова *подснежник* появилось значение “предмет, временно находящийся под снегом”: «Копните снег во дворе Павлодарской МТС – и вы найдете удивительные “подснежники”. Наверняка лопата поднимет какую-нибудь деталь... Его (директора МТС. – В.Д.) не смущают павлодарские “подснежники”» (Правда. 1955. 3 марта); «Кубанские “подснежники”» (название статьи) (Правда. 1965. 3 дек.). Ср. также: “И на первых проталинах задолго до появления первых подснежников является первое ценное сырье (металлолом. – В.Д.) для нашего комбината” (Комс. правда. 1987. 28 апр.). Это же значение было перенесено на лиц, временно пребывающих под снегом: «Шутливое прозвище этих людей “Подснежники”, потому что их замает вместе с жилищем» (Лит. газета. 1969. 12 ноября). В этом значении у слова *подснежник* можно отметить и такой оттенок: “лицо или что-либо, появившееся где-нибудь первым ранней весной или в конце зимы”: «– Нарушитель есть нарушитель. – Подумал (капитан. – В.Д.) и добавил. – Это был обычный турист, незнакомый с пограничными правилами. – “Подснежник”. – Кто? – Первый турист. Мы (пограничники. – В.Д.) их так называем» (Вл. Рыбин. И сегодня стреляют) (1984); «Слово “подснежник” автомобилисты толкуют по-своему: так называют тех, чьи машины простояли зиму. Неважно, действительно ли под снегом или в гараже, главное, что их владельцы долго не сажались за руль, а вот по весне разом выехали на улицы» (Л. Лебедев. “Подснежники” на асфальте // Правда. 1988. 27 апр.); “Ну, а сейчас, несмотря на глубокий снег, у нас появились футбольные подснежники. Так можно назвать январские соревнования, которые прошли под крышей на искусственных полях” (С. Иванов. Появились подснежники // Правда. 1985. 28 янв.).

Ко второму новому значению, возникшему у слова *подснежник*, возможно, раньше отмеченного и рассмотренного выше, отнесем следующее: “человеческий труп, находившийся под снегом и обнаружившийся по весне”: «Ушел (отец. – В.Д.) на прииски и не вернулся... Выследили бергалы – охотники за чужим счастьем – и срезали старателя пулей у ручья, где мыл он золото. Весной нашли выгатавший из-под снега труп – “подснежник”» (С. Сартаков. Хребты Саянские) (1940); «Здесь (в Си-

бири. – В.Д.) слов не слышать было нежных, не встретить улыбчивых губ; и значило слово “подснежник” – весной оттаявший труп» (Н. Асев. Поэма северных рек) (1951); «Их (молодых солдат в первый год войны. – В.Д.) посылали откапывать “подснежников”. Сергей нашел убитого солдата, лежавшего на ручном пулемете» (С. Зарубин. Путь разведчика) (1961); «К двадцатому году упали в цене не только деньги, но и человеческая жизнь. Поэтому покойники в России исчезли. Их заменили “покойнички”, “жмурики”, “подснежники” (если трупы находили по весне)» (Ю. Кларов. Розыск) (1982); «А то побегит [ссылный] и зимой, за месяц до окончания срока... И находят такого зимнего беглеца весной под талым снегом, оттого и зовут “подснежником”» (А. Рыбаков. Дети Арбата).

Метонимическое употребление слова *подснежник* привело к появлению у него еще одного нового значения: “лицо, официально числящееся на какой-либо должности, но фактически работающее на другом месте”: «[Лидия Семеновна] перечисляет предприятия, где работают неофициальные художники. Их называют “подснежники”. Называют поразительно точно... Что такое подснежник? Многолетнее растение с неярким цветком. Много лет тянется история [художника] Нины. И назовешь ли ее жизнь яркой? Даже у этого бледного цветка есть преимущество перед Ниной: ранней весной, после таяния снегов, он переживает хоть и короткую, но пору цветения. А спадут ли покровы “секретности” с человека – “подснежника”?» (Комс. правда. 1983. 20 авг.); «Сильно расплодилось пресс-центры в столичных ведомствах, буквально “несть им числа”. Сосчитать невозможно еще и потому, что “индустрия словословия” поручена так называемым подснежникам, числящимся научными сотрудниками, инженерами и т.д., – выпускникам Литинститута и факультетов журналистики» (Правда. 1987. 27 февр.); «Знаю точно: спортсмены (или как их еще называют “подснежники”) числятся не только на заводе телеграфной аппаратуры» (Комс. правда. 1987. 24 марта); «Так уж случилось, что три года “подснежником” была я» (Т. Югова. Была “подснежником” // Комс. правда. 1987. 31 марта); «Оторопь берет, когдамотришь на бесконечные кабинеты, в которые залезли, как мыши в норы, люди, которых зовут здесь (в Барнауле – В.Д.) “подснежниками”. Зайдите на профсоюзное собрание – и вы увидите: там яблоку негде упасть – столько народу, числящегося в других, чаще всего производственных подразделениях, но фактически не работающего там» (Правда. 1987. 1 июня); «Проверяющий видит и понимает, что предприятие не может решить проблему, так как у него не хватает ни сил, ни средств, ни возможностей... Что же делать? Приходится правдами – неправдами искать шабашников, держать “подснежников”, чтобы решить задачу» (Правда. 1987. 5 июня). У слова *подснежник* в данном значении отмечено окказиональное производное: «“Подснежничество” стало широко распространенным явлением...

“Подснежничество” стало средством преодоления формализма, где для нужной работы нет штатных единиц, тогда как без некоторых предусмотренных в штате можно обойтись» (Правда. 1988. 14 сент.).

Таким образом, слово *подснежник* прошло длительный путь семантического развития. Первоначально оно употреблялось в качестве общего названия растений, цветущих ранней весной сразу после таяния снега, затем было использовано и как ботанический термин для обозначения различных видов многолетнего луковичного растения галантус. Происшедшая вследствие расширения значения слова *подснежник* семантическая его деривация нашла свое лексикографическое отражение в современных толковых словарях русского языка. Метафорическое переосмысление производного слова *подснежник* привело к появлению у него новых переносных значений: предмет или лицо, временно находящиеся под снегом; человеческий труп; лицо, выполняющее работу, которая не соответствует его официальной штатной должности.

Отметим, что факты использования названия растений для обозначения лица были известны и ранее в русском языке. Ср., например: *лопух* (просторечное) – о простоватом, несообразительном человеке. Переносные значения у существительного *подснежник* возникли в разговорном стиле речи, а в последние годы становятся достоянием и письменной речи: они употребляются на страницах газет и начинают использоваться в художественной литературе. Наличие кавычек на письме при этом слове является показателем как новизны рассмотренных значений, так и отнесенности их к просторечию. Появление новых значений у слова *подснежник* в языке печати и отчасти в радиопередачах свидетельствует о том, что они постепенно закрепляются в литературном языке и потому должны быть лексикографически отражены в словарях русского языка.

Публикация Л.А. Дерibas

Язык прессы

ЯЗЫКОВЫЕ СТРАЗЫ НА ГАЗЕТНОЙ ПОЛОСЕ

Н.П. КОЛЕСНИКОВ
доктор филологических наук

Какое отношение имеют стразы к языку газеты? Чтобы ответить на это, установим, что называется стразом. Толковые словари сходятся на том, что это “искусственный драгоценный камень” или “подделка под драгоценный камень”. Автором этого изобретения является австрийский ювелир Ж. Страз, живший в XVIII веке.

Могли ли эти стразы из XVIII века перекочевать в XII век? Вопрос может показаться странным. И все же перенесемся в XII век и прочитаем, что пишет Шота Руставели – грузинский поэт эпохи царицы Тамар – в своей знаменитой поэме “Витязь в тигровой шкуре” (перевод с грузинского Ш. Нуцубидзе, редакция С. Городецкого):

Развлекаясь, ощущали к чарам слов сто раз влечение,
К нежным ласкам испытали лал, агат и страз влечение,
Витязь молвит: “Пред тобою разум с сердцем в разлученьи.
Дивный образ твой для сердца – пламя, но не развлеченье”.

Переводчик и редактор средневековой поэмы допустили, как явствует из содержания этого шаири (четверостишия), две ошибки: одна заключается в том, что к действительно ценным камням агату и лалу (красная шпинель) отнесли поддельный камень, изготовленный из свинцового стекла; другая – в том, что они перенесли реалию XVIII века в XII век.

Когда-то Н.В. Гоголь сказал: “Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок: все зернисто, крупно, как сам жемчуг”. Однако, как ни обидно, среди крупных жемчужин нет-нет да и попадутся досадные стразы. А им-то как раз и не место в сокровищнице, какой является русский язык.

Объектом нашего рассмотрения будут разного рода речевые ошибки, часто подкарауливающие журналистов, стремящихся к красивости слога или недостаточно владеющих знанием предмета описания, или находящихся не в ладах с грамматикой.

Полагаем, что не будет некорректным называть эти ошибки стразами.

Не везет слову *опробовать* (*опробование*), которое имеет значение “подвергнуть испытанию до применения”. Вместо него стало модным

стразом употребление слова *апробировать* (*апробация*) – “проверив, официально одобрить”. Несходство в значениях этих слов не смущает авторов, и мы сталкиваемся с такими текстами: “Вполне реально скорая *апробация* харьковского метода на людях” (Известия, 1997. 25 февр.) и даже: “Милые женщины. Для вас принимаются заявки на проведение вечеринок с показом и бесплатной *апробацией* французской косметики и парфюмерии” (Из рук в руки. 1997. 16–27 окт.).

В газете “Мегаполис. Последние новости” сообщалось: “Хейердал на плоту Кон-Тики, сделанном из *бальзамного* дерева... преодолел 7000 миль” (1997. № 19). Такого дерева, пригодного для постройки плота, не существует, как нет и другого, базальтового, дерева, упоминаемого в одной из газет. Кон-Тики построен из бальзы. Есть такое *бальзовое* дерево в Южной Америке.

Паронимические стразы содержатся и в следующих примерах: “Хороший человек, получая *сытые* харчи (надо *сытные*), нередко становится другим” (Огонёк. 1990. № 9); “*Заглавной* (надо: *главной*) темой я бы все-таки назвал межнациональный мир” (Известия. 1989. 9 сент.). Употребление слова *заглавный* вместо *главный* возможно только в том случае, когда речь идет о слове, являющемся заглавием или содержащимся в заглавии. Например: «Заглавную роль в “Отелло” играл Ваграм Папазян». Это значит, что он играл роль того, кто указан в заглавии произведения. “Необходимо заранее наладить *контракты* (надо: *контакты*) с общественностью за рубежом” (Известия. 1989. 28 дек.).

Об ошибочном употреблении слова *кавалькада* вместо слова *кортеж* много писали. Несмотря на это, им продолжают пользоваться в не свойственном ему значении: “В 1995 году на базу прибыла *кавалькада машин*” (Известия. 1997. 19 сент.). В нормальном словоупотреблении оно не должно иметь поясняющего слова: нельзя сказать ни *кавалькада машин*, ни *кавалькада мотоциклов*, ни *кавалькада всадников*, поскольку это слово уже означает “группа всадников”.

Стразами могут быть не только отдельные слова, но и словосочетания, и предложения, например: “Он внес *весомую лепту*” (Правда. 1990. 16 дек.). Лепта – такая мелкая греческая монета, что никак не может быть *весомой*. Обычно употребляются выражения: *Он внес скромную (свою, посильную) лепту*.

Из сочетания двух фразеологизмов “пальцем не шевельнуть” и “палец о палец не ударить” изготовлен страз: “Власть и пальцем не ударила для организации путешествия” (Известия. 1997. 4 марта).

А вот целое стразовое предложение: “А. Чудному 56 лет, всю жизнь проработал в здешнем хозяйстве трактористом, потом много лет водителем” (Известия. 1997. 10 сент.).

Можно ли, обращаясь к собеседнику, спросить: “Как вы себя ощущаете?” И ответит ли он так: “Я ощущаю себя хорошо”? Сочетание

ощущать себя и другие выражения с глаголом *ощущать* настолько заполонили нашу речь, что в ней не остается места для глагола *чувствовать*. Как вы себя *чувствуете*? Именно в такой форме задается вопрос о здоровье, о самочувствии. Употребление глагола *ощущать* вместо *чувствовать* является стразом: “Вы ощущаете себя женщиной года?” (Известия. 1998. 7 марта); “Вспомните, как вы себя ощущали, когда все было хорошо” (Имидж. 1997. 20 мая).

У личного местоимения *кто* нет множественного числа. Однако его отсутствие не смущает некоторых пишущих: “Он жил и писал от имени тех, *кто* юношами *познали* войну и *возмужали* духом с оружием в руках” (правильно: тех, *кто* юношей *познал* войну и *возмужал* духом...) (Известия 26.03.98); “Есть среди нас те, *кто сердятся* только раз в месяц” (Альтернатива. 1990. 7 февр.) (правильно: *кто сердится* только раз); “Те, *кто первыми* воспользовался услугами “Канона”, были приятно изумлены” (правильно: те, *кто первым* воспользовался услугами...) (Известия. 1997. 26 февраля).

В заключение еще об одном стразе, которому позволили украшать припев широко известной песни “Москва майская” (музыка Дм. и Дан. Покрассов, слова В. Лебедева-Кумача). Вот он, припев:

Кипучая, могучая,
 Никем непобедимая,
 Страна моя, Москва моя,
 Ты – самая любимая.

Обратим внимание на строку *никем непобедимая*. Здесь “непобедимая” – прилагательное, поэтому с ним не может сочетаться местоимение “никем”, требующее после себя причастной формы. Ср.: *никем не хранимая, никем не побежденная, никем не любимая*. Можно предположить, что в этой строке (взвалим вину на корректора!) допущена ошибка и следует отделить “не” от причастия: *никем не победимая*, но и это не устраняет страз, так как от глагола *победить* (совершенный вид) не образуется страдательное причастие настоящего времени – *победимая*.

Если переводчик “Витязя в тигровой шкуре” прибег к использованию слова “страз” с целью сохранения богатой рифмы (сто раз влеченье – страз влеченье – в разлученьи – развлеченье), которыми изобилует поэма в оригинале, то это объяснимо, но не оправдывает его. Так же нельзя оправдать тех, кто рождает стразы на газетной полосе и тем самым наносит ущерб русскому языку, вводит в заблуждение читателей, дезориентирует их, выдавая подделки за гоголевский жемчуг.

Ростов-на-Дону



**“...Вздохнуть из глубины сердца...”
Изображение внутреннего мира человека
в древнерусских воинских повестях**

Н.В. ТРОФИМОВА,
кандидат филологических наук

Поскольку в средневековой Руси военные походы, битвы, осады городов были частыми, то все дошедшие до нас летописные своды содержат произведения воинского жанра.

Во второй половине XII века в большинстве летописей воинская повесть уже прочно заняла свое место, и с этого времени можно выделить две ее разновидности: *информативную* и *событийно-повествовательную*. Первая характеризуется краткостью изложения, неразвернутым изображением событий. Часто в ней отсутствовало подробное описание битвы, больше внимания уделялось последствиям сражения. Герои упоминались лишь вскользь. Повествователь сдержан в выражении своего отношения к происходящему. В повестях второй разновидности все события, особенно сама битва, описывались развернуто, много внимания уделялось героям, их поступки часто мотивировали ход действия. Повествователь достаточно активно выражал свою оценку событий и персонажей.

Вполне естественно, что эти разновидности повестей обнаруживают и разный подход к передаче мыслей и чувств героев. В произведениях информативного типа чаще всего упоминаются переживания целых групп людей, значительно реже – индивидуальные психологические состояния.

Произведения событийно-повествовательного типа большее внимание уделяли психологическим состояниям отдельных героев. Примером может служить повесть о походе Игоря на половцев по Ипатьевской летописи.

Самое развернутое описание внутреннего состояния героя демонстрирует автор в плаче-размышлении Игоря в момент пленения. Игорь

пытается понять причины обрушившегося на него поражения и полагает, что они кроются в прежних междоусобных битвах, за которые Бог теперь наказывает его. В то же время он оплакивает участь своих близких и своего войска, и эта часть фрагмента особенно эмоциональна: «И се ныне вижду отместье от Господа Бога моего: где ныне возлюбленный мой брат? где ныне брата моего сын? где чадо рожения моего? где бояре думающей? где мужи храборствующей? где ряд полъчный? где кони и оружья многоценная?». Это первый в древнерусской литературе опыт введения в воинскую повесть плача, раскрывающего внутреннее состояние героя.

Изображено в повести и душевное состояние Святослава Всеволодовича Киевского. Оно раскрыто через внешние проявления и характеристику героем своих чувств: «Святослав же, то слышав и вельми воздохнув, утер слез своих и рече: "...Да како жаль ми бяшетъ на Игоря, тако ныне жалую болми по Игорю, брате моемъ"».

Чаще, чем в повестях информативного типа, появляются характеристики состояния групп людей, хотя приемы их раскрытия остаются теми же. Особенно ярко передаются чувства жителей южных русских земель после поражения игорева войска: «возмятошася городи посемьские, и бысть скорбь и туга люта, якоже николиже не бывала (...) И мятхуться, акы в мутви, городи воставахуть, и не мило бяшетъ тогда ко муждо свое ближнее, но мнозе тогда отрекахуся душъ своих, жалующе по князих своих». В этом описании основными становятся два чувства – *смятения и сострадания* погибшим и попавшим в плен, подчеркнутые родственными (*возмятошася, мятхуться, акы в мутви*) и близкими по значению словами (*скорбь, туга, жалующе*).

Из повестей о начале монголо-татарского нашествия на Русь наиболее последовательно и широко характеризует внутренний мир героев «Повесть о разорении Рязани Батыем». При этом автор использует прежде всего прямую характеристику чувств и описание их внешних проявлений: Батый «возяряся и огорчися», «нача велми скръбети и ужасатися», «дохну огнем от мерскаго сердца своего»; пестун князя Федора Апионца «горко плачющися» по смерти князя, Юрий Ингваревич «нача плакатися... И плакашеся весь град на мног час», «возде руже на небо со слезами», «Еупатий воскрича в горести душа своя и распалаяся в сердцы своем». Обращает на себя внимание стремление подчеркнуть степень переживаний героев с помощью уже известного воинской повести приема – соединения, как правило, двух слов, близких по значению.

Более разнообразные чувства передаются через прямую речь персонажей. Это решимость пострадать и умереть за родину в обращении Юрия Ингваревича к братии; восхищение татар мужеством и силой русских воинов: «Мы со многими цари, во многих землях, на многих бранех бывали, а таких удалцов и резвцов не видали, ни отци наши возвести-

ша нам. Сии бо люди крылатыи и не имеющие смерти...”; уважение Батыею к павшему врагу: “Аще бы у меня такой служил – держал бых его против сердца своего”.

Именно потому, что изображение внутреннего мира персонажей в этой повести многообразно, в тексте не выглядит инородной поздняя, по признанию исследователей, вставка плача Ингваря Ингваревича (См.: Лихачев Д.С. Литературная судьба “Повести о разорении Рязани Батыем” в первой четверти XV в. // Лихачев Д.С. Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986). Изображение его душевного состояния соединяет все приемы, использованные в других частях повести. Князь “жалостно возкричаша... И от великаго кричания и вопля страшнаго лежаща на земли, яко мертв... И едва отдохну душа его в нем”; “кричаше велми и рыдаше”, “и плачаша безпрестано”, “воскрича горько велием гласом... и в персьи свои рукама биюще и ударяшеса о земля. Слезы же его от очию, яко поток, течаше...” В этом плаче – скорбь о погибших, горе человека, потерявшего родных, причем в конце его сам герой перечисляет внешние признаки этих чувств: “Се бо в горести души моя язык мой связается, уста загражаются, зрак опусмевает, крепость изнемогает”. В описании проявления чувств персонажа несомненна большая экспрессивность, чем в предшествующих фрагментах, хотя создается она приемом, уже применявшимся ранее, – повтором слов с близким значением.

Именно этот прием становится определяющим для системы изображения внутреннего мира героев в повестях, написанных после Куликовской битвы, связанных с эпохой стиля “плетения словес”. Например, в “Повести о нашествии Тохтамыша на Москву” переданы чувства Дмитрия Ивановича Донского, узнавшего о походе врага и о несогласии князей: “И то познав, и разумев, и рассмотрев, благоверный бысть в недоумении и в размышлении велице, и убояся стати в лице противу самого царя”. Далее с помощью синонимических оборотов описывается состояние москвичей, узнавших о приближении врага: “А на Москве бысть заматня велика и мятеж велик зело. Бяху люди смущени, яко овца, не имуща пастуха, гражанстии народи възмятошася и въсколибашася...”. При описании состояния жителей Москвы в момент захвата города появляются синонимические пары: *въпнюще и глаголюще, крик и вопль, въпнюща... кричаша*. Наибольшего эффекта достиг автор в изображении чувств, охвативших жителей разоренного города: “И бяше видети тогда в граде плач и рыдание, и вопль мног, слезы неисчетенныа, крик неутолимый, стонание многое, оханье сетованное, печаль горкаа, скорбь неутешимаа, беда нестерпимаа, нужда ужаснаа, горесть смертнаа, страх, трепет, ужас, дряхлование, исчезновение, попрание, безчестие, поругание, посмеание врагов, укор, студ, срамота, поношение, уничижение”.

В конце повести автор описывает состояние Дмитрия и Владимира,

вернувшихся в Москву после ее захвата врагами; чувства всех русских людей, сопереживая им: “И о семь сжалиси зело, яко и расплакатися има с слезами. Кто бо не плачется таковыа погибели градныа! Кто не жалуеть толика народа людий! Кто не потужит о селице множестве христиан! Кто не сетует сицеваго пленения и скрушения!”.

Самую разнообразную систему приемов изображения внутреннего мира персонажей можно встретить в произведениях о Куликовской битве. Пространная летописная повесть на всем протяжении раскрывает чувства главных героев: Мамая и Дмитрия Ивановича.

Начало похода Мамая на Русь объясняется его гордостью: “Окаянный же Мамай, разгордевся мнев себе аки царя...”; придя на Русскую землю, “ста за Доном, възбуявся и гордяся и гневаяся”; узнав о приходе войск Дмитрия к Дону, Мамай “и възъярився зраком и смугися умом и распалися лютою яростию, аки аспида некаа, гневом дышуще”. В конце боя Мамай уже другой: “с страхом въстрепетав и велми въстонав”, а после поражения “видя себе бита и бежавша, посрамлена и поругана, паки гневашася и яряся, зело смущашеся”. Ярость и гнев врагов и раньше описывались в воинских повестях, но здесь возможности изображения этих чувств расширились за счет повторов сходных элементов, передачи оттенков чувств и их внешних проявлений.

Изображая князя Дмитрия, автор использовал прямые характеристики его душевного состояния, описывал их внешние проявления и приводил молитвы Дмитрия. Так, узнав о походе Мамая, князь идет в Успенский собор и, “прольа слезы”, обращается к Богу и Богородице с молитвой, в которой выражает надежду на их помощь и заступничество в борьбе с врагом. На месте битвы Дмитрий вновь произносит молитву, но она уже передает размышления князя: осознание своей правоты перед Мамаем, пытающимся захватить чужую землю и разорить святые церкви. Он восхваляет силу и справедливость Божьего промысла.

Состояние Дмитрия перед битвой раскрывается через авторскую характеристику и внешние проявления: “Но обаче всех сих не убояся, никакже не устрашися”; “И възрев на небо умилнима очима, въздохнув из глубины сердца, рече слово псаломское”.

Самый значительный фрагмент повести описывает чувства русских людей: «плачь горек и глас и ридание, и слышано бысть сиречь (...) плачущися чад своих и великим рыданиемъ, въздыханиемъ, не хотя утешитися, зане пошли с великим княземъ за всю землю Рускую на остраа копыа. Да кто уже не плачется жен оных рыдания и горкаго их плача, зряще убо их? Каяждо к собе глаголаше: “Увы мне, убогаа наша чада! Уне бы нам было, аще бы ся есте не родили, за сия злострастныа и горкия печали вашего убийства не подняли быхом. Почто быхом повинне пагубе вашей?”». Здесь присутствует и авторское описание проявлений скорби с традиционными синонимами и близкими по смыслу словами,

и прямое выражение чувств в плаче женщин, и авторское эмоциональное отступление.

“Сказание о Мамаевом побоище” является завершающим Куликовский цикл памятником. По принципам сюжетного построения, по широте охвата событий, по многофигурности он уже представляет собой переход от собственно воинской повести к монументальному историческому повествованию. Психологическая характеристика здесь дана не только главным, но и второстепенным героям, хотя круг описываемых чувств остается в основном традиционным.

Так, например, традиционен гнев Мамая: “Поиде же безбожный на Русь, акы лев ревый пыхаа, акы неутолимая ехыдна гневом дыша”, но в конце повести изображение его чувств необычно: он бежит с поля битвы “скрегча зубы своими, плачуци гръко”.

Подробно описаны чувства Дмитрия, когда он получил весть о предательстве Олега и Ольгерда: “нача сердцем болети и наплънися ярости и горести, и нача молитися”. В его молитве выражено сожаление об изменниках и обида на них. Иные же чувства испытал князь после посещения Сергия Радонежского: “Князь же великий обвеселися сердцем... И поиде к славному своему граду Москве, радуаяся, акы съкровице некрадомо обрете...”. На протяжении дальнейшего повествования автор многократно характеризует состояние героя как радостное либо печальное в зависимости от хода событий. Но есть один случай, когда показаны противоречивые чувства, охватившие героя: после битвы, “събранным же людем всем, князь великий ста посреди их, плача и радуаяся: о убиеных плачется, а о здравых радуется”. Такая сложность внутреннего состояния персонажа впервые изображена в воинской повести.

Впервые показаны чувства воинов двух враждующих сторон перед битвой, причем дается и объяснение этих чувств: “Начаша же погании половци с многым студом *омрачатися* о погибели живота своего, понеже убо умре нечестивый, и погыбе память их с шумом. А правовернии же человеци паче *процьветоша радующеся*, чающе съвръшенного оного обетования, прекрасных венцов, о них же поведя великому князю преподобный игумен Сергий” (курсив наш. – Н.Т.).

“Сказание о Мамаевом побоище” наиболее полно и широко представило круг приемов и средств передачи внутреннего мира героев, выработанных воинской повестью предшествующего времени. Это повествование внесло новые особенности в изображение сферы чувств, раскрылась более четкая картина индивидуальности и сложности внутренних переживаний героев.

Значительно более традиционна в показе внутреннего мира героев “Повесть о взятии Царьграда турками 1453 г.” Нестора-Искандера. В ней состояние печали, радости, страха чаще всего передается с помощью преимущественно авторской характеристики, реже – через пря-

мую речь героев. Автор, последовательно описывая многодневную осаду города, неоднократно рисовал похожие по содержанию эпизоды, чувства героев одними и теми же лексическими средствами: *плачуще и рыдающе, плач и рыдание, плача и рыдая, стонанием и рыданием, с рыданием и стонанием, вопли и кричания, плач и ужасъ*. Повторение одних и тех же определений чувств в разных воинских повестях мы уже встречали в предшествующие эпохи. Такого же последовательного повторения одинаковых выражений для характеристики психологических состояний внутри одного произведения не наблюдалось.

Исключительно яркий психологический образ нарисован Нестором-Искандером лишь в одном случае. Когда цесарь Константин узнает о ранении одного из лучших военачальников, гемуэского князя Зустуinei, он “абие распадеса крепостию и истаяше мыслию, и скоро поиде к нему, такоже и патриарх и вси велможи и врачеве, утешаючи его, хотяху бо, аще бы мощно было, душа своа вдунути в него”. И состояние цесаря, теряющего последнюю опору и надежду на победу, и чувства вельмож, от души желающих ободрить его, выражены здесь индивидуально, без всякой опоры на традицию.

Итак, рассмотрев материал воинских повестей XII–XV веков, мы можем утверждать, что этот жанр, хотя и был направлен в первую очередь на отражение исторических событий, достаточно последовательно обращал внимание и на внутренний мир его участников. На протяжении существования жанра были выработаны устойчивые средства для выражения определенного круга психологического состояния героев: *печали, радости, страха, гнева* и т.д. Многие древнерусские авторы сумели показать мотивирующую связь чувств и мыслей с поступками героев. Особенно расширилась сфера изображения внутреннего мира персонажей в произведениях, написанных после Куликовской битвы. Эта эпоха, с ее общей гуманистической направленностью и глубоким вниманием к человеку, заставляет авторов воинских повестей искать новые средства изображения переживаний героев. Эти поиски нашли свое завершение уже в монументальных исторических повествованиях XVI века, включающих в себя как элемент и воинскую повесть.



Таршиш и гиацинт: метафора и символ

Е.А. ОСОКИНА.

кандидат филологических наук

Удивительным свойством художественного текста является сосредоточение смысла в одном слове, фокусирующем в себе различные значения, обусловленные культурным контекстом. Такое **ключевое слово** может реализовываться и как **символ** – образ, имеющий в основе неизменный, закрепленный смысл и выражающий общие идеи, и как **метафора** – образ, основанный на понятном сравнении, вызывающий ожидаемые ассоциации и выражающий более конкретный смысл. При изменении ключевого слова изменяется и смысл ближайшего контекста, и смысл всего текста.

Иллюстрацией может послужить небольшой отрывок из ветхозаветной книги “Песни Песней” (5,10–16; далее – ПП), который имеет гипотетичный описательный комментарий и остается непонятным из-за разночтений, касающихся изменения одного (ключевого) слова в описании облика возлюбленного:

“Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти тысяч других. Голова его – чистое золото; кудри его волнистые, черные, как ворон; Глаза его – как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве; Щеки его – цветник ароматный, гряды благовонных растений; губы его – лилии, источают текучую мирру. Руки его – золотые кругляки, усаженные *топазами*, живот его – как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами; Голени его – мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях; вид его подобен Ливану, величествен, как кедры. Уста его – сладость, и весь он – любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дочери Иерусалимские!” (курсив наш. – Е.О.).

От русского синодального перевода церковнославянский вариант существенно отличается: “Брат мой бел и красен, избран от тем. Глава его злата глава. власы его широки и черны яко вран. очи его яко голубине на исполнение вод, измовени в млеце, сидящи в наполнении вод. ланиты его яко фиялы аромат прозябающи благовоние. устне его крины каплющи эмирны полны. руце его кругле злате, наполнены *дерзо-*

сти. чрево его буква слонова на камени сапфирове. лыста его стлпыи мрамуровы, основаны на степенех златых. вид его яко ливан избран, и яко кедрове. гортань его сладость и весь възделения, сии брат мои, и сии ближнии мои дщери Иерусалимля” (Острожская Библия 1581 года. Курсив наш. – Е. О.).

Интересующее нас слово, представленное в Синодальном переводе как *топаз*, здесь переведено как *дерзость*, что соответствует греческому слову *társos*, понятному и более приемлемому для переводчика. Такие ошибки могли быть обусловлены не только плохим знанием древнегреческого языка, но и попыткой исправить текст, заменив непонятное – уже несуществующее слово – на понятное (Шантрен М. Этимологический словарь греческого языка. Париж, 1977. Т. IV).

Этимологический словарь С.И. Штейнберга дает следующее двоякое толкование слова *тарсис* (или *фарсис*), употребленного в другом контексте: “1) **Фарсис** – сын Явала (Бытие. 10, 4). Потомками его считают первобытных обитателей Киликии, где и был город Тарс (кстати, это родина апостола Павла); 2) **Тартес** – город в южной Испании, где финикийцы вели торговлю (Ис. 2, 16–17)”.

Из этих дальних краев, в том числе и из города Тарса, привозились драгоценные камни, которые славились своей красотой и очень ценились.

В Латинской Библии (Biblia Sacra Vulgatae. IV в.), перевод которой был сделан Иеронимом, таинственный камень “таршиш” назван *гиацинтом*. Слово было выбрано не случайно и имело известный литературный и мифологический подтекст и контекст, то есть воспринималось и символически, и метафорически. В древнегреческой мифологии это имя принадлежало древнему растительному божеству умирающей и воскресающей природы, сыну спартанского царя Амикла и правнуку Зевса Гиакинфу. Юноша Гиакинф – любимец и спутник Аполлона – согласно мифу, случайно погиб от его руки. Из капель пролившейся крови умирающего юноши выросли цветы, которые стали называться его именем. Цветок гиацинт в греко-римской поэтической традиции был эпитетом солнца и воплощенной красоты и необходимым атрибутом в свадебном ритуале.

Эта традиция использования слова *гиацинт* в качестве атрибута свадебного ритуала продолжена Иеронимом в Латинской Библии, но не в значении цветка, а в значении камня. Свадебный ритуал в латинской “Песни Песней” приобретает иной смысл, о чем сказано в предисловии: “Noc canticum totum est mysticum, plenissimum incomprehensibilis amoris Christi sponsam suam, ac vicissim sponsae erga Christum sponsum”. (Эта песня вся таинственная, исполненная непостижимой любви Христа к своей невесте и невесты к обрученному жениху.)

Словарь *Thesaurus linguae latinae* указывает и на то, что *тарсис* был интерпретирован Симмахом (345–405 гг.) – римским оратором и поли-

тиком как гиацинт. То, что слово *гиацинт* как метафора использовалось оратором, говорит о доступности и понятности этого образа. История понимания восходит ко времени проповедей в Риме апостолов Петра и Павла, в которых они излагали текст Ветхого Завета в духе Нового, актуализируя его путем символического замещения. «Ибо сказано в Писании: “вот. Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится”. Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла» (Первое послание Петра. 2, 6–7; далее – 1-е Петра).

Иероним в своем переводе зафиксировал и навеки закрепил новое слово с его символическим значением, сделав его ключевым. Произошло как бы наложение двух значений, двух смыслов, в результате чего был рожден новый образ, возвещающий истинное, вечное, “подлинную реальность”, всю правду мира: цветок цвета крови и драгоценный камень “создали” кроваво-красный камень гиацинт, символизирующий “драгоценную Кровь Христа” (1-е Петра. 1,19). Новый символ выражал спасительную суть пролитой крови Христа, искупившего грехопадение человека (Евангелие от Матфея. 26, 28; 1-е послание к Фессалоникийцам. 5, 9–10).

Новозаветная апостольская традиция наследует именно “драгоценный камень”, который становится символом Христа: “Приступая к Нему, камню живому человеком отверженному, но Богом избранному, драгоценному” (1-е Петра. 2, 4–7).

В различных древнерусских и славянских переводах “Песни Песней” повторяют все трансформации неясного слова: *фарсис*, *тарсис*, *драгоценный камень*, *гиацинт*: “Руце его кругле злате наплънене *фарсиса*...”; “Руце его растръгане злате исплънене *тарсис* ...”; “Руце его перевиваны златом полны якоже *драгыи* камень...”; “Руце его углажены златы полныя *цинткови*...” (Курсив наш. – Е.О. Алексеев А.А. “Песнь Песней” по русскому списку XVI в. в переводе с древнееврейского оригинала // Палестинский сборник. Вып. 27(90). Сер.: История и филология. Л., 1981; Алексеев А.А. “Песнь Песней” в древней славяно-русской письменности. М., 1980. Ч. 1, 2; Флоровский А.В. Чешская Библия в истории русской культуры и письменности // *Sborník filologičky*, XII. *Česke akademie věd a umění. Třída III. Praha*, 1946).

Слово *фарсис* (вар.: *тарсис*) в исторических словарях русского языка не зафиксировано, а это значит, что на сегодняшний день нет никаких толкований лексического значения этого слова. Между тем в Древнерусской картотеке Словаря русского языка XI–XVII вв. (Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН) есть две карточки с одной и той же цитатой из ветхозаветной Книги Даниила (10,6): “и чресла его препоясана златом Офаз, и тело его яко фарсис” (Великие Минеи Четьи. Сентябрь.); “(1143)... и лядвия ему препоясаны злат(ъ)м, тело его

яки фарсис” (Переяславльская летопись. XV в.). Библейский энциклопедический словарь толкует это слово в данном контексте как название камня, напоминающее Фарсис в Испании. По еврейскому преданию, камень белый, цвета морской пены (Торонто, 1989).

Слово *гиацинт* зафиксировано историческими словарями в виде *иакинф*, *акинф*, *акинт*, *акунт*, *якинф* и *яхонт* (через польск. *jachant* от лат. *hyacinthus*) и др. (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I, IV).

По материалам исторических словарей русского языка семантического многообразия этого слова не наблюдается. В библейских цитатах, в “Александрии”, в “Апокалипсисе”, в “Сказании об Индийском царстве”, в Изборнике 1073 г. слово *гиацинт* означает “драгоценный камень”.

В “Материалах для словаря древнерусского языка” И.И. Срезневского на слово *акинт* = *акунт* = *якинф* в значении “драгоценный камень” приводится единственная цитата из Книги Пророка Иезекииля (28, 13) также без описания этого камня (СПб., 1983. Т. I).

Только “Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.)” в цитате из “Хроники Георгия Амартола” толкует *акинф* как “вид ткани”, не поясняя при этом, что речь идет о цвете: *пурпуровый*, *багряный*, *темно-красный*, (иногда) *синева-красный*, *фиолетовый*. Краситель для такого цвета получали из моллюсков под названием *порфира*.

Какого цвета камень подразумевался в древнееврейском тексте, остается загадкой. В латинской версии Библии, в сравнении с греческой, где в Песни Песней и в Книге Пророка Даниила употребляется слово *тарсис*, Иероним в своем переводе (и только!) использует *гиацинт* (ПП) и *хризолит* (Даниил). Возможно, именно такое словоупотребление послужило для дальнейшего отождествления гиацинта и хризолита. В “Этимологическом словаре” П. Шантрена драгоценный камень с греческим названием *иакинф* определяется как “аквамарин” – синезеленый или голубоватый камень. Мартин Лютер переводил *таршиш* как “бируза”. На Руси с XII века использовался драгоценный камень голубоватых тонов в ювелирных изделиях церковного обихода (Бочаров Г.Н. Художественный металл Древней Руси. X – нач. XIII в. М., 1984). В описаниях более поздних по времени камень называется *аквамарином*. В ювелирных изделиях, окладах икон и книг, деисусах этот камень – самый крупный – занимает центральное положение или украшает фигуру Христа.

В Изборнике Святослава 1073 года при описании одеяния священника употреблено *иакинф* как камень *редр* (красный). В славянской Библии слово *гиацинтовый* переведено как “синета” или как “голубая шерсть” (Иезекииль. 28, 13; Вторая книга Моисеева. Исход. 25, 4; 26,1).

С XVIII века в России *гиацинтом* называют прозрачный камень красно-бурого цвета.

В “Толковании на Апокалипсис св. Андрея, архиепископа Кесарийского” (перевод с греч.) под гиацинтом подразумевается драгоценный камень лазоревого или небесного цвета. Из известных ныне камней его можно сопоставить или отождествить с александритом, который, меняя свой цвет в течение дня, может быть то синим (лазоревым), то лиловым (яхонтовым).

Как же можно понимать и интерпретировать текст Песни Песней, если ключевое слово представлено то как *таршиш* (*фарсис*), что приравнивается к хризолиту, то как *гиацинт* (*акинф*, *яхонт*) с меняющимися цветовыми характеристиками, то как *драгый камень* с аллюзиями к образу Христа или в прямом значении?

Как было показано, только один вариант, восходящий к латинской Библии, вызывает наиболее адекватные ассоциации (знак искупительной крови Христа). Такое толкование отрывка ПП. 5, 14 в новозаветной традиции соответствует идее целой книги, заявленной Иеронимом в предисловии к Библии. Более того, оно порождает сложное восприятие целой книги через ключевое слово так же, как цвет гиацинта окрашивает своим “небесным” сиянием материю, приложенную к нему.

Два других слова не проясняют текст из-за утраты своего значения уже в глубокой древности. Тем не менее все переводческие интерпретации непонятого слова укладываются в семантику “драгоценного камня”, что в христианской традиции толкования соответствует Христу, а вне этой традиции – при прямом значении – имеет вспомогательную функцию усиления достоинств избранника.

Настойчивая “христианизация” значения ключевого слова в латинской версии и славянских переводах, восходящих к ней, заставляет нас воспринимать драгоценный камень темно-красным, вытесняющим другие оттенки цветов, но сохраняющим свою таинственность. Эстетическая неоднозначность слова лишь усиливает художественное своеобразие текста.

В славянских переводах с греческого и древнееврейского языков “таинственность” текста обусловлена сохранностью непонятого слова. Замена слова *таршиш* (*тарсис*) на *топаз* или *хризолит* остается гипотезой, а образ становится “темным” символом.

ИМЕНОВАНИЯ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ

М. Ф. ШАЦКАЯ,
кандидат филологических наук

Под главой государства понимают лицо, представляющее страну во внутренних и внешних отношениях и осуществляющее высшие государственные акты: подготовка и издание всех важнейших документов. Глава государства является высшим представителем страны в международных отношениях, заключает и ратифицирует международные договоры, принимает и аккредитует послов, от его имени объявляется война, заключается мир и т.д. Часто глава государства – и верховный главнокомандующий вооруженными силами. Характер полномочий главы государства зависит во многом от формы правления, особенностей политического строя, исторического развития, традиций и т.д. Например, полномочия президента и короля в некоторых современных парламентских государствах во многом номинальны, так как фактически власть осуществляется премьер-министром, монарх “царствует, но не управляет” (Блищенко И.П., Дурденевский В.Н. Дипломатическое и консульское право. М., 1962).

Функции главы государства в одних странах осуществляет, как правило, единоличное и не ответственное перед парламентом лицо, в других (Великобритания, Дания, Швеция, Бельгия и др.) глава государства – монарх, пост которого передается по наследству. В республиканских странах глава государства – выборная должность. В ряде стран глава государства одновременно и глава правительства.

В разных странах главу государства называют по-разному. В странах с республиканской (парламентской или президентской) формой правления самым распространенным именованием главы государства является *президент*. Всего таких государств в мире – по данным справочника “Страны мира” (М., 1993) – 128. В Австрийской Республике и Федеративной Республике Германии он называется *федеральным президентом*, в Швейцарской Конфедерации – *президентом конфедерации*.

В русской письменности слово *президент* в значении “глава, председатель” как экзотизм встречается уже с 30-х годов XVII века: “Президенту Розу велено во Шпанею быт(ь)” (1637 г. Вести-Куранты. М., 1972. Вып. 1; 1648 г. Вып. 3); “Генеральной полевой маршалок и совета во-

инского президент” (1697 г. Письма и бумаги Петра Великого. СПб., 1887. Т. 1). Это слово к нам попало из французского языка *président* (от лат. *praesidens*, род. п. *praesidentis*, букв. “сидящий впереди”), впрочем, М. Фасмер считал его заимствованием через немецкий *Präsident* из латинского *praesidens* (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1964. Т. III).

Слово *президент* употребляется и в значении “председатель, избранный для руководства общественным или научным учреждением, акционерным обществом”: *президент Российской академии наук, президент компании..., президент модельного агентства* и т.п.

В ряде стран с республиканской формой правления глава государства именуется *председателем*; ср.: *Председатель КНР, Председатель Государственного совета и совета министров Республики Куба*.

В монархических странах существуют разные формы правления: парламентская монархия, конституционная монархия, абсолютная монархия, абсолютная теократическая монархия, ограниченная монархия, просто монархия. И называются главы государств в этих странах по-разному: *император, король (королева), султан, эмир, князь, великий герцог* и др.

Император. Этот титул в настоящее время носит лишь глава государства Японии, являющийся “символом государства и единства народа”.

В Древнем Риме почетный титул *император* давался полководцам за одержанные ими победы. Первым постоянно стал носить титул *император* Гай Юлий Цезарь.

С ликвидацией республики в Риме и переходом к монархии, императором стал называться наследственный глава Римского государства. После падения Западной Римской империи (476 г.) титул сохранился на Востоке – в Византии. На Западе титул *императора* был восстановлен, его принял в 800 году король франков Карл Великий. Этот титул обозначал более высокий ранг по сравнению с титулами *король, царь* и присваивался наиболее крупным монархам.

В 962 году германские короли (Оттон и др.) захватили Северную Италию и стали именовать себя *императорами Священной Римской империи германской нации*. С XV века вплоть до 1918 года этот титул почти непрерывно сохранялся за австрийскими монархами. После Ништадтского мира (1721 г.) Петр I также принял титул *императора*, которым назывались и все последующие русские цари вплоть до 1917 года.

Императором провозгласил себя Наполеон I, а позже – Наполеон III. После объединения Германии в 1871 году прусский король был провозглашен *германским императором*. В 1876 году английская королева объявила себя *императрицей Индии*. Итальянский король с 1936 года носил титул *императора Абиссинии* (Эфиопии). За пределами Европы

императорами провозглашались правители в Бразилии, Мексике, Гаити, Китае и др.

В русской письменности это слово встречается со второй половины XVI века: “Неудобно бывает человеку грубому и неученому, и еще к тому умом врожденному, императором быть” (Письма князя Курбского к разным лицам // Соч. кн. Курбского. СПб., 1914, Т. 1); “...но да кондиции и артикулы, по образу здесь восприятому... от величества обоих императоров подтвердятся” (1697 г. Памятники дипломатических сношений... с империей Римской. СПб., 1870. Т. 9).

Займствовано это слово в XVI веке из польского языка, в котором *imperator* из латинского *imperator* “повелитель” – суффиксальное производное от *impeare* “повелевать” (Шанский Н.М., Боброва Т.А. Этимологический словарь русского языка. М., 1994).

Король. Это высший монархический титул после императорского. В настоящее время его носят главы пяти государств Европы и десяти государств Азии и Африки. Титул *королева* – у глав государств Великобритании, Дании (с января 1972). Сравнительно недавно были свергнуты короли в Греции, Афганистане, Йемене, Ливии, Румынии. С 1025 по 1918 г. во главе польского государства также стоял король.

По памятникам древнерусской письменности слово *король* известно уже с XII века. Так, в Ипатьевской летописи находим: “Бе же в короля полков 70 и 3 полци”; в “Слове о полку Игореве”: “Заступив королеви путь”.

Слово *король* является общеславянским заимствованием из германских языков (древнерусское *король*, старославянское *краль*, украинское *король*, болгарское *крѣлят*, сербохорватское *краљ*, словенское *králj*, чешское *král*, словацкое *kráľ*, польское *król*. Общеславянское **kaŕlǫ* привело у восточных славян к полногласному сочетанию *-oro-*. Происходит слово от собственного имени франкского короля *Карла Великого* (латинское *Carolus Magnus*; Фасмер. Указ. соч. Т. II). Распространение титула *король* связано с образованием королевств после распада империи Карла Великого (Франция, Германия).

Царь. Этот титул носили с 1547 года правители России. Первым был Иван IV Грозный, а с 1721 года русские цари приняли титул *императора*. Титул *царя* до 1946 года носили болгарские монархи. Древнерусское слово *царь* имело значение “властитель, государь”. Это слово есть и в других славянских языках с аналогичным значением (Фасмер. Указ. соч. Т. IV).

Князь. Этот титул имеют главы двух государств-княжеств в Центральной Европе – Лихтенштейн и Монако.

Как титул киевского (с X в.) и владимирского князей (с XII в.) употреблялось составное наименование *великий князь*: “Послании от Игоря великого князя Рускаго и от всякое княжья и от всех людий Руския земли” (Договор 945 г. с греками // Лаврентьевская летопись... М.,

1962). В период феодальной раздробленности старший из удельных князей также назывался *великим князем*. Это наименование сохранилось до середины XVI века у правителя Московского государства. С укреплением Русского централизованного государства великий князь Иван IV принял в 1547 году титул царя. С этого времени и до конца XVII века словосочетание *великий князь* входит в состав царского титула: “Царю государю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Великие и Малыя и Белыя России самодержцу... бьет челом...” (1655 г. Русско-белорусские связи. Сб. документов (1570–1667 гг.). Минск, 1963. № 337). Словосочетание *великий князь* использовалось и как титул сына, брата или внука царя. До 1917 года оно употреблялось как почетный титул, дарованный за особые заслуги и переходивший по наследству.

Слово *князь* является общеславянским заимствованием из германских языков, где оно образовано суффиксальным способом от *kuni* “род”. Исходное значение *kuning* “глава рода” (ср. немецкое *König* “король”). Общеславянское *къпningъ > *князь* после образования из звуко-сочетания *in ɛ*, перехода его затем в *a*, изменения после *e* звука *g* в мягкое *z* (ср. *осязать* и *присяга*) и утраты редуцированных начального *ъ* и конечного *ь* < *ъ* после мягкого *z* (Шанский, Боброва. Указ. соч.). Ср. старославянское *кънязь*, украинское *князь*, болгарское *кнез* – “старейшина”, сербохорватское *кнѐз* – “князь”, словенское *kněz* “граф, князь”, словацкое *knaz* “священник” и др. (Фасмер. Указ. соч.).

Папа. Неограниченный правитель города-государства Ватикан – *папа римский* (глава католической церкви; из латинского *papa* “отец”). Это слово встречается в памятниках церковнославянской письменности с XII века (Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1895. Т. 2), а в памятниках древнерусской письменности с XIII (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1988. Вып. 14). *Папа* как почетный титул священника, епископа в письменности с XI века (там же).

Герцог. Глава Великого герцогства Люксембург (Западная Европа) носит титул *великий герцог люксембургский*. У древних германцев *герцог* (немецкое *Herzog*) – выборный военный вождь. В период раннего средневековья – племенной вождь, князь, обладающий наследственной властью. В период феодальной раздробленности – крупный территориальный владелец (феодал), занимавший первое (после короля) место в феодальной иерархии. В позднее средневековье и новое время герцог в Западной Европе – один из высших дворянских титулов (Словарь иностранных слов. М., 1984).

В памятниках древнерусской письменности это слово в вариантах *герцик*, *герцок* встречается с XIII века: “Пошел баше Фридрих ц(е)с(а)рь на герцика воиноу” (Под 1235 г. Ипатьевская летопись. М., 1962). Вариант *арцуг* – с XVII века (1655 г. Памятники дипломатических сноше-

ний... с империей Римской. Т. 3). Слово *герцог* в значении “владельческое лицо в некоторых [главным образом германских] землях” употреблялось и в XVIII веке: “Сие Герцогство (Лаунбург) зело от давних лет особливаго Герцога имело” (1728 г. Словарь русского языка XVIII в. Л., 1989. Вып. 5).

Капитан-регент. Главой государства и правительства республики Сан-Марино на Апеннинском полуострове (в окружении Италии) являются два равноправных *капитана-регента*, избираемых Большим генеральным советом из числа своих членов на шесть месяцев. Слово *капитан* фиксируется в русской письменности только в значении “начальник торгового или военного судна” с XVI века (1521 г. Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1980. Вып. 7). Слово *регент* пришло в русский язык в Петровскую эпоху в значениях: 1 – “правитель государства” и 2 – “руководитель церковного хора” через немецкий *Regent* или польский *regent* из латинского *regens*, род. падеж *regentis* “правитель” (Фасмер. Указ. соч. Т. III). Первая лексикографическая фиксация этого слова – в “Немецко-латинском и русском лексиконе Вейсмана” (СПб., 1731).

В современном русском языке слово *регент* употребляется так же в двух значениях: 1 – “в монархических государствах – временный правитель государства, назначаемый в случае вакантности престола, а также длительного отсутствия, болезни или несовершеннолетия монарха”: “Новой регентшей стала другая жена покойного короля Собхузу – Нтомби, имеющая от него сына принца Макхосетиве. По достижении 21-летия принц должен быть провозглашен новым монархом Свазиленда” (Известия. 1983. 21 авг.). 2 – “дирижер хора, преимущ. церковного” (Современный словарь иностранных слов. СПб., 1994).

Эмир. В трех мусульманских странах главы государств имеют титул эмира: Бахрейн, Кувейт и Катар. Титул *эмира* присваивается сыновьям арабских монархов (напр., Саудовской Аравии). Эмирами называют также предводителей больших групп паломников, направляющихся в Мекку. До принятия в VII веке мусульманства *эмирами* именовались в странах Юго-Западной Азии полководцы (БСЭ. 3-е изд. М., 1973. Т. 30).

Эмир в написании *емир* в русской письменности встречается с начала XVII века: “В тех временах эмир Магомет... въехал до Триполу в пятисот конных и столикоже пехоты” (1582–1584 гг. Похождение в Землю Святую князя Радивила Сиротки. Изв. РГО СПб., 1879. Т. 15. Пер. с польск.). Вариант *амир* – в письменности с XIV века: “И в полатах дрѣжать казну и оружиа амиры иер(у)с(а)лимьскаго” (1370 г. Хождение во Святую Землю архим. Грефения. Рукопись РГБ, ф. 247. Сер. XV в.).

В русский язык этот экзотизм пришел, по мнению М. Фасмера, через французский *emir* из турецкого *âmer* или арабского *amîr* “предводитель,

повелитель”. Древнерусское *амир* является заимствованием с Востока (Фасмер. Указ. соч. Т. IV). Слово *эмир* фиксируется в “Новом словотолкователе” Н. Яновского (СПб., 1806. Ч. 3).

Султан. В двух мусульманских странах – Султанате Оман и Брунее – глава государства носит этот титул. Он появился в VIII веке, после завоевания арабами Ближнего Востока, Средней Азии и Северной Африки. Его носили правители многих среднеазиатских государств феодального типа (с XI в.), Сельджуки (в XI–XII вв.), турецкие монархи (со второй половины XIV в. до 1922 г.), марокканские монархи – до 1957 года, а также правители некоторых княжеств Индии и Индонезии. Султанами были правители Египта в XIII – начале XVI веков и с 1914 по 1922 годы. Титул *султана* носят некоторые крупные феодалы в мусульманских странах Западной Африки, некоторые вожди в Южной Аравии.

Слово *султан* и его вариант *салтан* как общее название владетельных государей в Азии встречается в “Хождении за три моря” Афанасия Никитина (1466–1472 гг.): “На султане ковтан весь сажен яхонты” и в “Слове о полку Игореве” (XII в.: Срезневский. Указ. соч. Т. 3).

Экзотизм *султан* пришел в русский язык через турецкое из арабского *sultān* “властелин”.

В Королевстве Свазиленд и в Лесото главами государств являются наследные принцы. Слово *принц* в значении “сын короля, великого князя, шаха и т.п.” в русской письменности отмечается с XVII века: “Татарский принц и множество полоненных турков и татаров в оковах (1696 г. Дополнения к Актам историческим... СПб., 1875. Т. 12). Ср. немецкое *Prinz* от латинского *princeps* “первый, главный” – титул члена царствующего дома или владетельного князя (Современный словарь иностранных слов).

До февраля 1979 года в Иране существовала конституционная монархия. Глава государства именовался *шахом*, точнее – *шахин-шахом*, что значит “царь царей” – титул царей Ирана со времени Сасанидов (224–651 гг.) – династии иранских шахов. Слово *шах* – персидский монарх – встречается уже в сочинении Григория Котошихина “О России в царствование Алексея Михайловича” (1666 г.). Форма *шахы* (мн. число) – игра в шашки – отмечается в “Древней русской пчеле”. Слово *шах* пришло в русский язык через турецкий или прямо из новоперсидского *šāh* царь, от древнеперсидского (Фасмер. Указ. соч. Т. IV).

До недавнего времени наименований глав государств в странах мира было больше: в Китае император именовался *богдыханом*. Это слово впервые фиксируется в “Статейном списке посольства Н. Спафария в Китай” (1678 г., Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975. Вып. 1). Затем в памятниках XVIII века (Словарь русского языка XVIII в. Л., 1985. Вып. 2). Словарь современного русского литературного языка снабжает это слово пометой “устаревшее” (Изд. 2-е, М., 1991. Т. 1).

В Пруссии глава государства именовался *курфюрстом бранденбургским*, в Турции – *падишахом* и т.п.

В заключение несколько слов о речевых формулах международной вежливости. Сюда прежде всего относятся обращения к главам государств. Традиционные правила международной вежливости требуют, чтобы, обращаясь к главам монархических государств, называли их государства *королевствами*, а их самих *королями*, *королевами* и т.п. И соответственно титуловали короля – *Его величество* (*Ее величество*), императора – *Его императорское величество*, великого герцога – *Королевским высочеством*, князя – *Светлейшим высочеством* (например, так именуют главу государства княжества Лихтенштейн), эмира – *Его высокостепенство* и т.д. (См. Сатоу Э. Руководство по дипломатической практике. М., 1961). К президентам республик установилось общепринятое обращение *Ваше превосходительство*.

Волгоград

Беседы о лингвистическом источниковедении



ИЗ ИСТОРИИ ИЗДАНИЯ РУССКИХ РУКОПИСНЫХ ПАМЯТНИКОВ

Л.Ю. АСТАХИНА,
кандидат филологических наук

*Тиснение книг великий свет миру
открыло и неописанную пользу приносит*

В.Н. Татищев

В трагедии А.С. Пушкина “Борис Годунов” есть сцена в Чудовом монастыре: “[Григорий Отрепьев] Борис, Борис! всё пред тобой трепещет, / <...> А между тем отшельник в темной келье / Здесь на тебя донос ужасный пишет...”

Нет, Пимен писал не донос: “Еще одно, последнее сказанье – / И летопись окончена моя, / Исполнен долг, завещанный от Бога...” Итак, Пимен создавал летопись. Говоря научным языком, он формировал источник. Источник для изучения прежде всего – истории страны. И для изучения языка того времени, когда происходили события.

Если наука об источниках по истории насчитывает более двух столетий, то наука об источниках для изучения русского языка совсем молода: она возникла в начале 60-х годов нашего столетия. Каждая новая область науки имеет предмет своего исследования, свои методы и терминологию. Наука об источниках языка получила название *лингвистическое источниковедение*. Предметом ее исследования является *лингвистический источник*, который изучается с точки зрения его *лингвистической содержательности* и *лингвистической информативности*.

Источником может служить древняя рукопись (Пименом написанная летопись, например), изданные памятники древней письменности, произведения современных писателей, даже сочинения школьников и

различного рода (курсовые, дипломные) письменные работы студентов. Это источники видимые, читаемые. Но есть источники, непосредственно фиксирующие звучащую речь, – записи на пластинках, магнитофонных лентах и других новейших носителях. Это источники слышимые. Они появились только в связи с возможностью фиксировать звук, тогда как самые древние из сохранившихся русских письменных памятников относятся к XI веку.

Следовательно, источники по истории русского языка можно изучать с XI века, а источники, заключающие живую, звучащую речь, – с конца XIX. В начале же XIX века, когда наука об истории русского языка только начинает осознаться как самостоятельная отрасль филологии, исследователи чаще всего обращались непосредственно к рукописям. Но к этому времени некоторые рукописи уже были опубликованы, изданы как источники для изучения истории России или как памятники древнерусской литературы. И лингвисты поняли, что в какой-то мере историю языка можно изучать и по этим публикациям, особенно если в них древние слова были переданы достаточно точно. Когда академик И.И. Срезневский в 50-х годах XIX века приступил к созданию карточки для исторического словаря русского языка, он обращался как к рукописям, так и к публикациям.

Исследователи истории языка заметили, что в источниках, опубликованных историками, не всегда точно передаются древние слова, чаще всего орфография их соответствует той, которой владеет публикатор, так сказать, модернизируется. Иногда в них древние слова заменяются современными, то есть публикатор как бы “переводит” древнюю рукопись на современный язык. Конечно, такой перевод имеет право на существование. Он достаточно верно передает смысл древнего текста, но для изучения древнего языка он непригоден.

Постепенно выработались определенные требования к публикации древних текстов, предназначенных для лингвистических исследований. Текст в издании должен быть передан буква в букву, с сохранением всех букв, вышедших из употребления со времени введения гражданской азбуки (“гражданки”) в 1708 году. Все сокращенные слова, которые раньше писались под титлами (годрь, црь, Бгъ, члвкъ, мсць, нне и др.), должны так и передаваться в публикации, уж в крайнем случае – без титла. Оставляют и обозначение чисел буквами кириллицы: а – 1, в – 2, з – 3, д – 4 и т.д. Особыми знаками, добавляемыми к буквам с числовыми значениями, обозначались тысячи, десятки, сотни тысяч, миллионы и другие величины.

Публикация письменного памятника является самым надежным способом введения в научный оборот рукописи: по ней можно вести разнообразные исследования.

Есть два способа представления памятника письменности в печати: *факсимильное* и *наборное*. Факсимильное издание представляет собой

фотографию рукописи. Такое издание сохраняет все ее особенности: древний почерк, способ размещения строк на странице, разрывы материала (пергамена или бумаги), на котором написан памятник и т.п. В прошлом веке такое издание осуществлялось с помощью перенесения текста на литографический камень. В таких публикациях, бесспорно, учитывались и удалялись лишние черты, которые могли бы исказить текст.

Обращаясь к факсимильному изданию, исследователь должен сам разделить на слова сплошной, написанный без интервалов между словами, древнерусский текст, т.е. переписать его заново, а уже потом работать с ним. При факсимильном издании почти невозможно создавать указатели, делать подстрочные или иные примечания, разве только помещать комментарии в конце книги. Такое издание трудно оснастить полноценным справочным аппаратом.

Наборное издание дает представление о тексте древней рукописи, переданной либо средствами графики современной печати, либо кириллицей. В таком издании открываются большие возможности для формирования справочного аппарата, раскрывающего разнообразные языковые богатства письменного памятника, для подстрочных примечаний, касающихся всевозможных особенностей рукописи, исправлений в тексте, различных указателей. А это раскрывает как лингвистическую содержательность источника – его лексические, грамматические, фонетические свойства, – так и его лингвистическую информационность, говорящую о состоянии рукописи, особенностях почерка и т.д. Любой из этих способов издания выводит рукопись на арену научных исследований.

Продолжение следует

Фамилии с диалектными основами

И.А. КОРОЛЕВА,

кандидат филологических наук

Многие ли знают, откуда взялась и что означала при своем возникновении их фамилия? Конечно, если это *Борисов, Иванов, Сергеев, Федоров, Зайцев, Новиков, Селезнев* и т.п., то это просто. А вот если *Бавыкин*? Или *Беклемишев*? Или *Жабрыкин*? Объяснить происхождение таких фамилий нелегко даже с помощью специальных исследований. Фамилии с диалектными основами – это своеобразные маленькие “лингвистические памятники”, сохранившие в своих основах богатейшую информацию о предках, об их верованиях, занятиях, культуре, быте, вкусах. Некоторые из подобных фамилий мы рассмотрим в этой заметке.

Атрошкевич, Атрошкин. В смоленском памятнике деловой письменности второй половины XVII века записан смоленский мещанин Атрошкевич (1675 г. Российский государственный архив древних актов – далее РГАДА). Нигде более на русской территории источники не засвидетельствовали этот антропоним. Имя *Атрошка*, на базе которого эта фамилия возникла, в старобелорусских текстах (XVI–XVII вв.) отметил белорусский антропонимист Н.В. Бирилло (Бірыла М.В. Беларуская антрапанімія. Мінск, 1966. Ч. I), считая его разговорным вариантом христианского имени *Трофим*. Однако, на наш взгляд, возможна и еще одна версия семантики основы. Так, в смоленских говорах есть слова *атрошка, отрошка, атрушка, отрушка* со значениями “отрава, яд”, “отбросы” (Добровольский В.Н. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914). Выявлено нами и бытование современного прозвища *Отруш* “вредный, злобный человек” (деревня Кириллы Рославльского р-на).

Бавыкин. В приходе-расходной книге конца XVI века Болдина Дорогобужского монастыря представлена запись: “... даваны деньги крестьяном ис казны... соцкому Ивану Бавыке” (1599 г. Русская историческая библиотека. Петроград, 1923. Т. 37. Ч. II). Прозвищное имя и образованная на его основе фамилия в XVI–XVII веках бытовали на северо-востоке Руси, чаще всего в виде окающего варианта – *Бовыка, Бовыкин* (Туликов Н.М. Словарь древнерусских личных собственных имен. СПб., 1903; Чайкин Ю.И. История вологодских фамилий. Вологда, 1989).

У Даля есть глагол *бавить* “продолжать, длить (<...>); медлить, замедлять, тянуть, мешкать ...”, существительное *бавуша* “мешковатый, вялый человек”, “мешок, разиня” (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I). Глагол *бавиться* “задерживаться, медлить” весьма активен в смоленских говорах (Добровольский. Указ. соч.; Словарь смоленских говоров. Смоленск, 1974. Вып. 1; далее – ССГ). Для старых прозвищных имен был обычным суффикс *-ык-* (ср. *Булыка, Взварыка, Жабрыка* и др.).

Башарин, Башаринов. Возможно, уже фамилия *Башарин* встретилась нам в материалах личного фонда смолян Барышниковых: под 1722 годом упомянут надсмотрщик Петр Башарин (Государственный архив Смоленской области). Еще лишь однажды антропоним находим у Тупкиова: Ефимка Иванов сын Башариных (Устюг, 1662 г.).

Скорее всего корень в антропонимах общий с тюркским словом *баш* “голова” (Веселовский С.Б. Ономастикон. М., 1974). Однако не исключено и его русское диалектное происхождение. Так, в современных псковских говорах *баша* “овца” (Словарь русских народных говоров. Л., 1966. Вып. 2; далее – СРНГ). Лексема *башара*, не засвидетельствованная в Словаре смоленских говоров, тем не менее бытует в Руднянском районе и была записана во время диалектологической экспедиции по Смоленской области в 1993 году: *башара* “загон для скота” (возможно, и для овец, т.е. “овчарня”).

Бекешев, Бекшиев. Под 1698 годом в смоленском источнике находим упоминание о Никите Бекеше (РГАДА). В словаре Н.М. Тупкиова представлен еще один иллюстративный пример с прозвищным именем: “Бекеш, казак, Белая Церковь, 1654 г.”. Как видим, уже в старых прозвищных именах наблюдается смешение *e* и *и*, что нашло отражение и в современных фамилиях.

Апеллятив *бекеш* тюркского происхождения: это титул высших чиновников, а также дворян-помещиков у тюркских народов (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975. Вып. 1; далее – СлРЯ XI–XVII вв.).

Однако можно предположить, что старые прозвищные имена, давшие начало современным фамилиям, образованы и по-другому.

В современных русских говорах находим лексему *бекеш* “род крестьянского кафтана”, слово новгородское и вятское (СРНГ. Вып. 2). Происхождение апеллятива венгерское, лексема пришла на Русь через посредство польского языка, а смоленский диалект прошлого был именно той языковой средой, которая способствовала в силу исторических причин передаче. Название одежды уже стало историзмом – все пометы в СРНГ относятся к XIX – первой трети XX веков.

И еще одно соответствие заставляет задуматься о семантике основ современных фамилий. В поселке Голынки Руднянского района Смоленской области нами выявлено бытование прозвища *Бекеш* “косно-

язычный”. Скорее всего его основа родственна глаголу *бекать* “неясно говорить, читать по складам”, известному современным смоленским говорам (ССГ. Вып. 1).

Беклемишев. С.Б. Веселовский отмечал в своем “Ономастиконе” существование прозвищного имени *Беклемиш* со второй половины XIV века и называл родоначальника фамилий *Беклемишевых* – Федора Елизаровича Беклемиша, родом из татар (Веселовский. Указ. соч.). На тюркскую основу фамилии указывает и Н.А. Баскаков: «*beklemiŝ* причастие прошедшего времени от тюркского глагола *bekle* “сторожить”» (Баскаков Н.А. Русские фамилии тюркского происхождения. М., 1979).

В смоленских источниках фамилия *Беклемишев* фиксируется впервые в документе за 1609 год: “... с Андреем Беклемишевым...” (Готье Ю.В. Памятники обороны Смоленска 1609–1611 гг. М., 1912). В XVII веке Беклемишевы жили и в других регионах Русского государства. Можно предположить, что семантика основы антропонима может быть иной: в вятских говорах существует слово *беклемеша* “неуклюжий, неповоротливый человек” (СРНГ. Вып. 2), и именно это значение могло быть в старом прозвищном имени, в фамилии.

Бокеев. Еще в XV веке известен истории Семен Федорович Бакей, тверской боярин из рода князей Смоленских. В 1474 году его сыновья выехали служить в Москву и явились, как предполагает С.Б. Веселовский, родоначальниками фамилии *Бакеев* – вариант *Бокеев* (Веселовский. Указ. соч.). Однако значение имени можно определить только через польский язык: в польско-литовской геральдике *bokieu* – секира, обращенная острием вправо, а поверх нее крест (Веселовский. Указ. соч.). На наш взгляд, подобный факт свидетельствует о том, что корни рода Бакеевых из Твери ведут в Великое княжество Литовское. Это же подтверждается и тем, что неоднократно имя *Бокей*, *Бокій*, *Бакей* отмечено в старобелорусских и староукраинских источниках. Известны и современные фамилии *Бакэй* (белорусская), *Бокій* (украинская).

Ваулин, Ваульский. В документе Бельского городского магистрата XVIII века представлена фамилия *Ваулин* (1740 г. РГАДА). Образована она от основы личного имени *Ваула*, засвидетельствованного Н.М. Тупиковым (XVI в.); автор Словаря считает имя разговорной формой от канонического *Вавила* (*Вавула* – *Ваула*).

Мы хотим предложить несколько иную версию объяснения семантики фамилии. На наш взгляд, в ее основе – нехристианское имя, характеризующее человека по каким-либо чертам характера. В современных пермских говорах *ваула* “заика”, в оренбургских – “ленивый человек”, во владимирских – “неопрятный человек” (СРНГ. Вып. 4). В деревне Кириллы Рославльского района Смоленской области нам встретилось современное прозвище *Ваула* “дурак”. Мы считаем, что основа фамилии *Ваулин* – диалектная.

Воропай, Воропаев. Уже во второй половине XVII века нам еще встретилось в качестве первого именованного прозвищное имя *Воропай*: “Воропай Сивцов, велижской крестьянин” (1665 г. РГАДА).

Старое мирское имя *Воропай* имело распространение и на других русских территориях: в Новгороде, Рязани, Коломне (Веселовский. Указ. соч.).

Семантика имени, давшего основу современным фамилиям, неоднозначна. *Воропай* “слепой” (Бірыла. Указ. соч. Ч. II). *Воропай* “бестолковый человек” в белорусских диалектах (Вуйтович М. Древнерусская антропонимия XIV–XV вв.: Северо-Восточная Русь. Словарь. Познань, 1986).

Возможно и еще одно толкование. В Материалах И.И. Срезневского отмечено древнерусское слово *вороп* “налет, грабеж, нападение, разбой” (Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1893. Т. I). У Даля лексема дана с пометой “старое”, приводится также прозвание *Воропаевы*, образованное, как можно понять, от названного апеллатива (Даль. Указ. соч. Т. I). Таким образом, *Воропай* (суффикс *-ай* для прозвищных имен типичен – ср. *Бонтяй, Прокусай* и др.) – это “разбойник”, “вор”.

Вытев. Довольно редкое прозвищное имя *Выть* мы нашли в памятниках Ю.В. Готье: “в сыску... Яков Выть” (1609 г. Готье. Указ. соч.).

Как же объяснить значение антропонима, если апеллатив в означенный период отсутствует? Никто из исследователей подобный антропоним не выявил.

Опираясь на данные смоленских говоров, можно предположить, что прозвищное имя соотносится с существительным *выть* “плач, крик по покойнику” (ССГ. Вып. 2). В современных русских народных говорах других территорий слово *выть* бытует с самым разнообразным кругом значений (их 11) на Северо-Западе, в Поволжье, в Сибири. Наиболее возможные, на наш взгляд, значения лексемы *выть*, которые могут как-то прояснить семантику старого имени: 1 – еда, пища, 2 – судьба, 3 – сила, крепость (СРНГ. Вып. 6).

Герцев. Конечно же, еще не фамилия, а патронимическое образование засвидетельствовано нами в интересном документе XV века – реестре смоленских бояр, князей и слуг: в нем записан смолянин Агафон Герцыв (Литовская метрика, не позднее 1490 г. // Русская историческая библиотека. СПб., 1910. Т. 27). Нигде более на русской территории XV–XVIII веков антропоним не выявлен.

Следует предположить, что существовало и прозвищное имя *Герц*. Может быть, это сокращение от славянского имени *Герцеслав* (как *Стась* от *Станислав*, *Влад* от *Владислав* и др.)? В материалах И. Носовича находим слова *герц* “плут; знаток”, *герцик* “плут”, *герцать* “плутовать”; автор, фиксируя лексемы в белорусских источниках, говорит о том, что они активны среди евреев, которые говорят по-

немецки (Носович И. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870). В актовых старобелорусских текстах Н.В. Бирилло нашел прозвищное имя *Герцык* и определил его значение как “хитрый” (Бірыла. Указ. соч. Ч. II). Но, может быть, в истории все было проще, и *герцык* – это немного искаженное *герцог* (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 4).

Гурченок. Эта интересная современная фамилия впервые в смоленских источниках в виде прозвища засвидетельствована в конце XVII века: “реитарский крестьянин Гришка прозвища Гурченок” (1685 г. РГАДА). Нигде более на русской территории антропоним ни в старорусскую эпоху, ни позднее не зарегистрирован, зато хорошо известен старобелорусскому языку (Бірыла. Указ. соч.). Отметим кстати, что суффикс имен *-онок/-енок (-онак/-енак)* обычен в антропонимической системе Смоленского края и белорусского региона (ср. *Карташенок, Лосенок, Теложенок* и др.).

Можно высказать несколько предположений о вероятных апеллятивах. В смоленских говорах весьма активен глагол *гурчать* “ворчать”, “рычать”, “жужжать”, “издавать рокошующие звуки”, “журчать” и др. (ССГ. Вып. 3). Отмечено также прилагательное *гурный* “веселый”, “пьяный”. Бытует на Смоленщине и глагол *гурковать* “говорить” (СРНГ. Вып. 7). Возможно, *Гурченок* “человек, много болтающий, балаболка”. Однако в смоленских же говорах хорошо известно слово *гур* “огурец”.

Жабрыкин. Современная фамилия, безусловно, возникла на основе старого прозвищного имени *Жабрыка*, редкого, даже узколокального, засвидетельствованного в смоленской деловой письменности XVI века: “смоленский Иван Жабрыка” (Бугославский Г. Смоленские земли в литовский период. 1404–1514 гг. // Смоленская старина. Смоленск, 1914. Вып. 3. Ч. I).

Апеллятив, на наш взгляд, также нужно искать в смоленских говорах. У Даля засвидетельствовано только смоленское слово *жабрун* “обжора”, в основе которого также только смоленский глагол *жабрить*, *жабровать* “жрать” (Даль. Указ. соч. Т. I). *Жабрун* “обжора” зарегистрировано и в СРНГ как смоленская лексема (Вып. 9). В ССГ находим существительное *жаброед* “жадина” с тем же корнем (Вып. 4). Суффикс *-ык-* был достаточно употребительным для образования прозвищных имен (ср. *Булыка, Бузыка* и др.).

Зазулин, Зазуля, Зезюлин, Зезюлинский. Прозвищное имя, давшее начало современным фамилиям, в памятниках письменности встречается в разных фонетических вариантах: “вязмитин Денис Зазуля” (1675 г. РГАДА); *Зовзуля* (Пинск, 1629 г., Тупиков. Указ. соч.), *Зезюля* (Бірыла. Указ. соч.); *Зезюлин, Зекюлин* (XVI в., Звенигород, Веселовский. Указ. соч.) и др. Как видим, разнообразны в фонетическом отношении и фамилии, образованные на его основе.

Апеллятив в СлРЯ XI–XVII вв. представлен самыми старыми вари-

антами: *зегзица, загозица, зогзица, зегула* “кукушка” (Вып. 5). У Даля находим лексемы *зезюля* (псковское), *засуля* (смоленское), *зозуля* (южное) “кукушка” (Даль. Указ. соч. Т. I). Там же дан и редкий западный вариант *зузуля* “кукушка”. В настоящее время ареал лексемы *засуля* “кукушка” (варианты *зезюля, зозуля, зязюля*) неширокий: это псковские, смоленские, западные брянские, томские и некоторые южные говоры (СРНГ. Вып. 11).

Зыболов, Зыболович. Возникновение фамилии можно проследить по документам Бельской приказной избы начала XVIII века. Так, несколько раз на протяжении более полувека встречаются упоминания о членах одной семьи: “белянин Петр Васильев сын Зыболов; племянник его Никита Зыболов; жена Зыболова Петра Авдотья; Тихон Петров сын Зыболов, Сенка Зыболов – дети Петра и Авдотьи; Федка Зыболов, сын Никиты” (1702 г.; 1735 г.; 1751 г. РГАДА). Укажем сразу, что нигде более в ономастических источниках антропоним не засвидетельствован.

Предполагаем, что фамилия *Зыболов* образовалась от основы прозвищного имени *Зыбол*, пока еще не обнаруженного. Апеллятив в исследуемую эпоху также отсутствует. Значение основы определяем с помощью материалов Даля, где находим лексему *зыбела* (вариант *зыбола*) “долговязый”, слово тверское (Даль. Указ. соч. Т. I). Заметим, что тверской и смоленский регионы (особенно бельские земли, которые сейчас входят в состав Тверской области) очень близки.

Мы представили материал о происхождении лишь нескольких интересных фамилий с диалектными основами. Введение в научный оборот новых памятников письменности, возможно, расширит географию бытования антропонимов в прошлом и настоящем, но уникальная лингвистическая информация, заключенная в рассмотренных именах собственных, останется неизменной.

Смоленск

Топонимика

ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ*

Г.П. СМОЛИЦКАЯ,
доктор филологических наук

Светлояр. Озеро в Нижегородской области между реками Керженцем и Ветлугой. С ним связана легенда о затонувшем на его дне граде Китеже. Его название допускает двойное толкование. *Светлояр* – это озеро со светлой, прозрачной водой и крутыми, обрывистыми берегами (ярами). Но такие берега обычно бывают на реках и образуются течением реки, которое подмывает их. Более убедительным представляется мнение А.И. Попова, который в элементе *-яр* видит марийское слово *яр* “озеро”. Поблизости он находит озера с названием *Нестияр*, *Пекшеяр*. В доказательство он приводит сведения о том, что мари проживали здесь до XIV века (Попов. Топонимия древних мерянских и муромских областей). Возможно, *-яр* – это видоизменившийся финно-угорский термин *ярв* “озеро”, известный в северной и северо-западной частях Центральной России и имеющий разные варианты: *явр*, *яхр*, *ягр*, *рха*, *рхи* и др. Он неоднократно встречается в гидронимии на территории современного и бывшего расселения финноязычных народов.

Свирица. Поселок городского типа в Ленинградской области. Название дано по реке Долгая Свирица (в бассейне р. Свирь). Селение известно с XIII–XIV веков как важный торговый пункт Великого Новго-

* Продолжение. Начало см.: Русская речь. 1994. №№ 4–6; 1995. №№ 1–6; 1996. №№ 1–6; 1997. №№ 1–6; 1998. №№ 1–6; 1999. № 1.

рода. Название является производным от гидронима *Свирь*. См. *Свирь*.

свирича́не, свирича́нин, свирича́нка

свири́цкий, -ая, -ое

Сви́рская Слобо́да. Поселок в Ленинградской области. Название перешло к поселку от бывшей здесь на Сви́рских озерах монастырской слободы (Кисловский. Знаете ли вы?), возникшей при Александро-Сви́рском монастыре, основанном в XV веке. Первая часть названия *Сви́рская* – по озерам, вторая часть свидетельствует о типе поселения – *слобо́да*. Это поселение, жители которого пользовались льготами в уплате налогов и освобождались от выполнения некоторых повинностей. Слово *слобо́да* – это русская диалектная форма от литературного *свобода*, известного и в некоторых других славянских языках, например, белорусском, польском.

сви́рскослобо́дцы, сви́рскослобо́дец

сви́рскослобо́дский, -ая, -ое

Сви́рь. Река, протока из Онежского озера в Ладожское. Исследователи (Никонов. Краткий топонимический словарь; Кисловский. Указ. соч.) связывают название с прибалтийско-финским *сювя*, *сува* “глубокий”. С.В. Кисловский полагает, что суффикс *-рв-* это усеченное финское *-ярвь* (*-ярв*) “озеро”. Если это так, то, возможно, гидроним *Свирь* из финского *сува + järvi* “(река) из глубокого озера”. Такое толкование названия соответствует реалии: Онежское озеро, откуда берет свое начало река, глубокое, оно имеет максимальную глубину 120 метров при средней глубине до 30. Аналогичное объяснение гидронима дает и А.И. Попов. Он считает, что в его основе вепсское слово *сюверь* “глубокий”, образованное от финского *сувага* “глубина”, то есть *Свирь* – Глубокая, что соответствует действительности (Попов. Следы времен минувших).

сви́рский, -ая, -ое

Сви́рьстро́й. Поселок городского типа в Ленинградской области. Название расшифровывается как “стройка на Свири”. И действительно, его появление и название связано со строительством Нижне-Сви́рской ГЭС (1933 г.), при котором поселок сформировался (Кисловский. Указ. соч.).

сви́рьстро́евцы, сви́рьстро́евец

сви́рьстро́евский, -ая, -ое

Свобо́да. Село в Воронежской области. Первоначальное название *Гадючье*, замененное в советские годы на *Свобода*. *Гадючьим* оно называлось по первопоселенцу с фамилией *Гадючий*, который вместе с Гончаровым в начале XVIII века (1740 г.) основал селение у оврага Глубокого (Прохоров. Вся Воронежская земля). В Воронежской области есть еще хутор с названием *Свобода* – по именованию колхоза “Свобода”, созданного на этом хуторе; поселок Свобода, основанный переселенцами в 1920 годы. Во всех случаях *свобода* выступает как

символ освобожденного крестьянства.

свободнинцы, свободнинец

свободнинский, -ая, -ое и свободный, -ая, -ое

Себеж (1772). Город в Псковской области. Название дано по озеру Себеж, на берегу которого возникло поселение. Озеро со временем стало называться *Себежское*, являясь по форме (а не по существу) вторичным. В честь царя Ивана Грозного селение одно время называлось *Иван-город*. Происхождение названия неизвестно. Первое упоминание Себежа в источниках относится к 1414 году. Членение гидронима как *Себ-еж* показывает, что *-еж* – формант, довольно часто встречающийся в топонимии (преимущественно в гидронимии) на территории центральных и северо-западных областей России, а основа *себ-* довольно редкое явление. В XVIII веке в бассейне реки Клязьмы была известна речка Себерная (Себерна, Сибирянка) и деревня Себерная, получившая название по этой речке (Смолицкая. Гидронимия бассейна Оки).

себежәне, себежанин, себежанка и себежцы, себежец

себежский, -ая, -ое

Сев (Сева). Река в Брянской области в бассейне Верхнего Поднепровья. Окончательно этимология гидронима не выяснена. Наиболее убедительна гипотеза, соотносящая его с иранским *sava (осетин. *sau*), авестинский *suva* “черный”. Дополнительным аргументом к этой этимологии является название притока Сева – *Черневка (Чернавка, Черныш)*. Ср. родственные – *Сава* (басс. Дуная и Березины). Существуют и другие предположения, выводящие гидроним из *seu “струиться, быть влажным” или из *keu “сиять, блестеть” (Топоров, Трубачев. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья). В местной литературе безо всякой аргументации гидроним *Сев* связывается с этнонимом славянского племени *северяне*, обитавшего на берегах этой реки (Губанов Л.М. История в географических названиях // Памятники истории и культуры Брянщины. Брянск, 1970).

сёвский, -ая, -ое

Северо-Задонск (1950). Город в Тульской области. В названии отражено местоположение города по отношению к Дону. Он расположен в северной части бассейна реки (в верховьях) и за ней (по отношению к Туле), на ее левой стороне. Аналогичных названий довольно много в нашей современной топонимии: города *Северобайкальск* в Бурятии, *Северо-Курильск* в Сахалинской области, *Североморск* в Мурманской и др. См. *Дон*.

северозадонцы, северозадонец

северозадонский, -ая, -ое

Северский Донец. Река, правый приток Дона. Суффикс *-ец* указывает на деминутивный (уменьшительный) характер гидронима, то есть *Донец* – это малый Дон, приток Дона. В отношении определения *Северский* (часто это *Северный* даже в официальных документах) суще-

ствуют разные мнения. В.А. Никонов видел в его основе апеллятив *северяне (севера)* – название одного из восточнославянских племен (Никонов. Указ. соч.), что в общем-то правильно. Точнее, прилагательное *Северский* восходит к названию *Северская земля* или *Севера*, откуда эта река берет начало. А *Северская земля* в свою очередь получила название по восточнославянскому племени *северяне*, населявшему когда-то эти места. Со временем название *Северский Донец* превратилось в *Северный Донец* в устной речи и в официальных документах, поскольку в них гидроним фигурировал в усеченной форме *Сев. Донец*, что в случае употребления полной формы давало *Северный*. Исчезновению формы *Северский* способствовал, в основном, и тот факт (для устной речи и официальной формы), что из памяти народа и из языка ушло понятие и название “Северская земля”, “Севера” и “северяне”. До недавнего прошлого в наших официальных документах (русских и украинских) река называлась *Северный Донец* (по-русски) и *Північний Донець* (по-украински). См. *Дон*.

северскодонёцкий, -ая, -ое и донёцкий, -ая, -ое

Сѣвск (1779). Город в Брянской области. Название дано по реке Сев (Сева), на которой город основан. См. *Сев*.

севча́не, севча́нин, севча́нка и сѣвцы

сѣвский, -ая, -ое

Сѣйм. Река, левый приток Десны. Название верхнего течения реки – *Семь Котлубанская, Колкуданская*. Форма *Сейм* установилась с XVII века. В письменных памятниках – *Семь*. Последнюю форму, сохранившуюся в говорах, пытаются объяснить количеством (семь) составляющих речек (Никонов. Указ. соч.). Эту форму (*Семь*, приток Семица) дает Фасмер (Этимологический словарь русского языка. Т. III).

Утрата первоначальной фонетической формы затрудняет поиски этимологии, которая считается неясной. В.Н. Топоров и О.Н. Трубачев приводят этимологию К. Мошинского (из индоевроп. корня *kē со значением “пестрый, разноцветный”) и сами предлагают гипотезу (для аналогичной формы *Сѣмь*) об иранской основе со значением “темный”. Форму *Сейм* те же авторы считают результатом “описки или позднейшего ложного осмысления” (Топоров, Трубачев. Указ. соч.). Известная попытка объяснить переход *Семь* > *Сейм* польским влиянием несостоятельна.

сеймча́не, сеймча́нин, сеймча́нка

сѣймский, -ая, -ое

Селигѣр. Озеро в Тверской и частично в Новгородской областях. В памятниках письменности XII–XV веков известно много вариантов этого названия, которые можно свести к двум основным, имеющим принципиальное значение для выявления этимологии этого названия – *Селегер(ь)* и *Серегер(ь)*. Существующие гипотезы сходятся в том, что их авторы считают этот топоним прибалтийско-финским, но видят

в его основе разные апеллятивы. Наиболее убедительной и аргументированной представляется версия А.И. Попова: если первичной является форма *Серегер(ь)*, то она может считаться переводом на русский язык эстонского *Sarg-jarv*, где *särg* “плотва”, *jarv* “озеро”, т.е. *Плотичное озеро*; озеро, где много плотвы. Эта версия поддерживается и тем обстоятельством, что в Селигер впадает речка Сорoga, название которой может быть переведено из прибалтийско-финских языков как *Плотичная*. Не исключено, что эта речка дала название сначала той части озера, где она впадала в него, а позже это название распространилось на все озеро (состоящее из трех озер). Если же первоначальной была форма *Селегер(ь)*, то она может быть соотнесена с эстонским апеллятивом *selg*, имеющим разные значения, в том числе “озерное плесо”, т.е. *Селегер(ь)* – “Плесовое озеро, озеро, имеющее много плесов”, что соответствует характеру и конфигурации Селигера. Объяснение названия озера Селигер как *Селижарово* не имеет оснований, т.к. последнее появляется в памятниках письменности очень поздно – только в XVII веке, хотя ее однокоренные названия известны в XV: *Трошцкий Селижаров м-рь*; в XVI *Селижарово*, река *Селижаровка*.

селигёрцы, селигёрец, *разгов.* селигёрники, селигёрник
селигёрский, *-ая, -ое*

Селигерцы – *ершееды*. Жители берегов Селигера названы ершееды потому, что их любимая рыба – ёрш, который обязательно кладется в уху как жирная и вкусная рыба, придающая ей особый вкус.

Селище, Селищи. Названия многих сел и деревень Центральной России, возникших на земле, оставленной предыдущими селениями: *Селище* – это “жилая земля, поле, пашня, место поселения, с землей”; “остатки жилого места” (Даль. Т. IV).

селищинцы и селищенцы
селищинский, *-ая, -ое* и селищенский, *-ая, -ое*

Семёнов (1779). Город в Нижегородской области. Впервые упоминается в 1644 году как поселок старообрядцев. Название антропонимического происхождения – по мужскому имени *Семён* (первопоселенец-старообрядец). Фамилия *Семёнов* была широко известна в Русском государстве в XVI веке. Среди Семеновых государственные дьяки, подьячие, послы и другие официальные лица при государях, в царской канцелярии (Веселовский. Дьяки и подьячие. XV–XVII вв.).

– Центр старинного русского художественного промысла – росписи по дереву и изготовления деревянной посуды и игрушек, в частности, знаменитой в настоящее время “семеновской матрешки”. Семёнов известен с XVII века как село.

семёновцы, семёновец
семёновский, *-ая, -ое*

Семёновцы-ложжари. Прозвище дано по основному занятию – изготовлению деревянной посуды, в частности – ложек.

Семёновцы – заволжская кокура, баклушники. Прозвище дано по атрибутам семеновского промысла: деревянные заготовки, которые назывались *кокорой* (*кокурой*). Это были искривленные стволы деревьев с разнообразными наростами, пни и баклуши – первоначальные заготовки, деревянные чурки, из которых вырезали посуду – ложки, плошки, солонки и т.п.

Семибратово. Поселок городского типа в Ярославской области на месте села Исады. Исады от древнерусского *исад*, *исады* “пристань; рыбацкий поселок”. В 1948 году Исады был переименован в *Семибратово*. Название свое поселок получил от железнодорожной станции. Число *семь* в диалектах и топонимии может означать “много, несколько”, т.е. село, принадлежащее нескольким, семи братьям. Не исключено антропонимическое происхождение от фамилии *Семибратов*. Ср. аналогичное *Семибратеник Елисей*, посадский человек, 1624 г., Тверь (Веселовский. Ономастикон).

семибратовцы, семибратовец

семибратовский, -ая, -ое

Семивражки. Село в Мордовии. Название свидетельствует о том, что оно основано в местности, где много оврагов. Числительное *семь* в диалектах русского языка значит “много, несколько”. Возможно, в этом же значении употреблено числительное *семь* в названиях селений Пензенской области *Семь Берез* и *Семивражки*, а также поселка *Семиключи* Ульяновской области.

семивражцы, семивражец и семивражинцы, семивражинец

семивражский, -ая, -ое

Семилуки (1954). Город в Воронежской области. Исследователи связывают это название с тем, что селение возникло у семи лук (*лука* “крутой изгиб русла реки”) или у седьмой луки по течению Дона (Прохоров. Указ. соч.). Не исключено, что селение возникло на берегу такого участка Дона, где было много изгибов русла, так как число *семь* в говорах русского языка значит “много”. В воронежских говорах есть слово *семивражек* “овраг со многими ответвлениями”, ребенок *семибатькович* – не известно, от какого отца. По свидетельству памятников письменности XVII века, здесь “у семи лук” (излучин Дона) была дана земля воронежским служилым казакам, основавшим это селение (Загоровский В.П. Как возникли названия городов и сел Воронежской области. Воронеж, 1966).

семилукуцы

семилуцкий, -ая, -ое

Сергач (1779). Город в Нижегородской области. Известен с XVI века как селение в местности *Сергачевская Бортная Ухожья* (бортное угодье, пчельник, пасека). В XVII веке в связи с возведением церкви во имя Святого Сергия получает название *Сергеево*, *Сергачево*. Вероятно, имя *Сергей* имело местную разговорную форму *Сергач* (или от *сер-*

гач – поводырь “ученого” медведя; местные жители водили дрессированного медведя по своей и соседним губерниям), которая дала основу топониму *Сергач* (с 1779 года село получило статус города). Не лишено основания предположение о том, что в основе топонима мордовское личное имя первопоселенца – *Сергас* (Морохин Н.В. Нижегородский топонимический словарь. Нижний Новгород, 1997).

сергачёвцы, сергачёвец

сергачёвский, -ая, -ое и сергачский, -ая, -ое

Сёргиев Посад (1782). Город в Московской области. Название было дано по одному из крупнейших монастырей России – Троице-Сергиевой Лавре, основанной около 1345 года преподобным Сергием Радонежским (ок. 1321–1391), выдающимся русским церковным и политическим деятелем. В 1380 году Сергей благословил московского князя Дмитрия на борьбу с Золотой Ордой. В этом же году в Куликовской битве приняли участие иноки монастыря Александр Пересвет и Родион Ослябя. В 1452 году Сергей Радонежский был канонизирован русской православной церковью как печальник, молитвенник и заступник Русской земли. Его имя стало названием лавры и посада, выросшего вокруг. *Посадами* в Русском государстве называли поселения вокруг города или монастыря, жители которых занимались ремеслами или торговлей. С 1930 по 1991 годы город назывался *Загорск* по фамилии деятеля коммунистической партии В.М. Загорского-Лубоцкого (1883–1919), который, возможно, взял псевдоним по местности *Загорье* в окрестностях Сергиева Посада.

Троице-Сергиева Лавра (Свято-Троицко-Сергиевская) – замечательный памятник культуры, в стенах которого работали выдающиеся русские мастера: иконописцы Андрей Рублев и Даниил Черный, резчик и ювелир Амвросий, писатели Епифаний Премудрый, Пахомий Лагофет, Максим Грек, Авраамий Палицын и др. В монастыре процветали переписка, соби́рание книг и, с конца XV века, летописание. В настоящий период в Лавре находятся раритеты русской православной церкви; размещаются православная духовная академия и семинария, а также уникальный музей русского прикладного искусства. Это место паломничества русских православных христиан.

сергиевопоса́дцы, сергиевопоса́дец, *устар.* заго́рцы, заго́рец

сергиевопоса́дский, -ая, -ое, *устар.* заго́рский, -ая, -ое

Сердо́бск (1780). Город в Пензенской области. Название дано по реке Сердобе, на которой он основан. Известный топонимист В.А. Никонов предложил две версии для объяснения этого топонима: от мордовского *сярдо* “олень, лось” или от иранского *сардоба* “водохранилище, холодная вода”. Подобные топонимы известны в Средней Азии (Никонов. Указ. соч.). Более ранние названия: *Сердобинская слобода* (XVII в.), *Большая Сердоба* (XVIII в.), *Сердоб.*

сердо́бчане, сердо́бчанин, сердо́бчанка и сердо́бинцы, сердо́бинец

сердóбский, -ая, -ое

Серéбряные Пруды. Поселок городского типа в Московской области. Впервые упоминается в источнике 1678 года как село *Серебряный Пруд*, в конце XVIII века – село *Пруды*, в XIX – *Серебряные пруды*. В XVIII веке в селе имелся пруд, производивший впечатление серебряного, сверкающего.

серебрянопру́дцы, серебрянопру́дец

серебрянопру́дский, -ая, -ое

Серпéйка и Серпу́шка (Серп, Серпея, Серпенка). Река, левый приток Нары в бассейне Оки. Название может быть объяснено двояко. С одной стороны, есть основание соотнести его с апеллятивом *serp*, так как русло реки, особенно в пределах города Серпухова, имеет серповидную форму. С другой стороны, его можно объяснить на балтийском материале, соотнеся с древнепрусским *Sirpenicken*, *Sergo*, латышским *Sirputis* (Топоров, Трубачев. Указ. соч.). Эта версия поддерживается тем обстоятельством, что гидроним находится в ареале балтийской гидронимии Подмосковья.

Продолжение следует



Кошки, репки, хвосты и Масленица

В.А. КОРШУНКОВ,

кандидат исторических наук

“Не всё коту Масленица”, – так обычно говорят о скоротечности сытой, беззаботной и полной удовольствий жизни. И нередко добавляют: “Будет и Великий пост”. Действительно, вслед за буйным масленичным гуляньем наступал самый длительный в году семинедельный Великий пост. Пословица же о коте явно восходит к обрядовым приговорам, звучавшим на стыке Масленицы и поста: в Чистый понедельник (первый день поста) сибирские крестьяне говаривали, что “отошла коту Масляна – пришёл Великой пост” (Макаренко А.А. Сибирский народный календарь. Новосибирск, 1993. С. 100). Почему же в связи с Масленицей в народной речи упоминался кот?

Накануне Великого поста церковь накладывала на православных некоторые пищевые ограничения. Запрещалось есть мясное. Поэтому то и налегали на молочное да масляное, отчего, собственно, составившие этот праздник дохристианские по своему происхождению обряды

и получили название Масленицы. Ну, а масло, молоко, сметана, творог любимы и кошками. Недаром говорили: “Любит кошка молоко, да рыло коротко”; “Стар кот, а масло любит”; “Он не кот, молока не пьёт, а от винца не прочь”; “Собака крох подстольных, а кошка пролитого молока ждёт”. Вот и в колыбельных песнях часто ведётся рассказ о том, как кот повадился ходить в погреб “по сметану, по творог, по пресное молочко”. А иногда в колыбельных котик приглашается укачивать ребёнка, причём наградой ему служит “кувшин молока да кусок пирога”. И если бы кошки говорить умели, они, наверное, тоже повторяли бы за людьми присловья о лёгкой и счастливой доле: “Как сыр в масле (кататься)”; “Не житьё, а Масленица”; “Без кота мышам Масленица”; “Кому масляна да сплошная, а нам вербная да страстная” (с противопоставлением двух недель Великого поста двум предшествующим посту неделям – сплошной и масляной). В знаменитой книге В.И. Даля “Пословицы русского народа”, в разделе “Месяцеслов” – там, где собраны пословицы, поговорки и присловья о Великом посте, – приведена и такая фраза: “Не мяскай (*то есть не проси мяса*), кошка услышит”. Это, очевидно, расхожая реплика, которой старшие во время поста успокаивали детей, просивших мясного – как бы мяукавших. Известен иной вариант пословицы про кота: “Не всё коту Масленица, будет середина и пятница” (это два постных дня на неделе). Сходна по смыслу и такая пословица: “Кошка не могла достать мяса и говорит: сегодня пятница”. Но уж на Масленицу-то не одним только людям, а и кошкам должно было житься сытно и привольно.

При проходах Масленицы в деревне Дружинино на Вологодчине под вечер жгли костры из соломы, кричали: “Масленца горит! Масленца горит!”, а дети при этом пели:

Сидит кошка на окошке,
Отшивает себе хвост.
Прошла масленка-вертушка,
Наступив Великой пост!

В других местностях слова были несколько иными. Например, в Ярославле приговаривали так:

Сидит кошка на окошке,
Вышивает себе хвост.
Прошла маслена неделя,
Наступил Великий пост.

Это масленичное четверостишие, судя по всему, уже к началу нашего века стало из обрядовой припевки обычной частушкой, а потому и первая строчка: “Сидит кошка на окошке” – превратилась в расхожий частушечный зачин, вслед за которым мог звучать какой угодно текст. Одна такая частушка сохранилась в детском сочинении 1918 года. К первой годовщине Октябрьского переворота школьная учительница

Юлия Васильевна предложила детям семи-восьми лет написать о том, чем им запомнилась революция. Эти сочинения были опубликованы Михаилом Поздняевым в “Общей газете” (1997. № 44. С. 4) к 80-й годовщине Октября. Вот текст Шуры Петровой: “Была стрельба мои сёстры все перепугались большая сестра пошла посмотреть, как возют ран-ных. Я боялась выти на улицу. Ярлычки квасные стали в место денег выдовать а теперь нам придётся ими печку растоплять. На окошки сидят кошки нет теперь в Москве кортошки...” Два последних предложения в сочинении Шуры Петровой – это явно запись двух популярных в то время уличных частушек.

Ну, а в Старорусском районе Новгородской области пели так:

Проходит маслена неделя,
Настаёт Великий пост, –
Сидит кошка на окошке,
Намывает себе хвост!

Этот последний текст понятнее и логичнее тех, где сказано о вышивании-отшивании: кошка умывается, хвост себе вылизывает. Правильно, как раз этим и надо было заниматься в Чистый понедельник. В этот день мылись в банях, а кое-где справляли *тужилки* (или *поминки*) по Масленице – опохмелялись, причём говорили, что это они так рот полощут от скоромного. За многими давними обычаями этого дня проглядывает архаичная идея ритуального очищения.

Но почему именно хвост? Почему бы кошке не тереть мордочку, не вылизывать лапки или бока? Есть народная примета: если кошка лижет лапку – быть вёдру, а если хвост или лижется по телу – это к ненастью. Однако едва ли в масленичных припевах имелось в виду лишь предвестие дурной погоды на раннюю весну.

Прежде всего, кошачий хвост особо выделен и в народных загадках – как главный, самый приметный признак этого животного. “Под полом, полом ходит барыня с колом” (вариант: “...с хвостом”); “Кто по избе с колом ходит?”; “Идёт дстина, несёт выше себя дубину” – отгадки: кошка. Известна записанная в Вятском крае и в Ярославской области сказка “Котик – золотой хвостик” и её пермский вариант “Кошечка – золотые серёжечки”.

Кроме того, рифма “пост – хвост” вообще характерна для масленичных песен, причём она относится не только к хвосту кошачьему. Куда чаще разумеется хвост репы или редьки:

На Великий пост –
Надо редьки хвост...

Прошла маслена неделя –
Наступил Великий пост. –
Полезай, матка, в выстёпку (погреб. – В.К.) –
Тяни репчину за хвост!

Поддергалась,
Подпоясалась –
На весь мясоед,
На всю Масленицу!

Не отторну хвоста (не вытяну, не вытолкаю. – В.К.)
До Великого поста!

Прощай, маслена-вертушка.
Настаёт Великий пост,
Дома ужинать садятся,
Подают от редьки хвост!..

...Блинов напекла –
Сама всё пожрала!
А нам редьки хвост
Дала на пост!

Эта рифма из масленичных песен перешла и в те колыбельные, где поётся про кота:

...А ещё тебе, коту,
За работу заплачу:
В Великий пост –
Редьки хвост,
Склянку вина
И конец пирога.

Появилась она и в присловьях о Великом посте: “Великий пост всем прижмёт хвост”; “Великий пост обмочит хвост” (об оттепели).

Это понятно: репа да редька станут основной едой крестьян на все долгие семь недель поста. Только почему же в этих песенках чаще упоминались не просто репа и редька, а их хвосты-корешки?

В народных загадках репа почти всегда рисуется хвостатым комочком-клубочком:

Под дубком
Свилась клубком
Да и с хвостиком.

Сам клубочком
И хвост – под себя.

Под дубком,
Под карандашком –
Не то клубком,
Не то камушком,
Не то крысиный хвост.

Итак, и кошки, и репки в глазах народа были особо примечательны своей хвостатостью. Однако во всём русском календарном фольклоре

хвосты эти (и кошкин хвост, и корешок репы или редьки) столь явно отмечались почему-то лишь текстами, приуроченными к рубежу Масленицы и Великого поста.

Даже по приведённым отрывкам масленичных песен видно, что они (и особенно исполняемые при проводах-похоронах Масленицы) были весёлыми, бойкими, шутивно-задиристыми, а нередко даже и скабрёзными. Ведь Масленица обманула ожидания людей, не смогла погостить у них подольше, покинула их так скоро, подсунув вместо блинов масляных и прочих обильных лакомств скудное постное кушанье – хвост репы либо редьки (“Мы его поели – брюха заболели”). Вот за это её и бранили. Прощаясь, чучело Масленицы сжигали, топили или растерзывали – и всегда под улюлюканье, хохот и вопли собравшегося народа. Тогда-то и звучали озорные припевки, в которых Масленицу обзывали *обманищицей, обманякой, плутовкой, кривошейкой, голошейкой, ерзовкой, вертушкой*. В таком контексте и обычный эпитет Масленицы – *широкая* – мог замениться насмешливым *широкорожая*. А нередко её ругали *курвой, гологузкой, голохвосткой*. И даже ещё похлётче (см. тексты в научном издании: Русский эротический фольклор. М., 1995. С. 310–311). В тех случаях, когда её изображал живой человек, а не тряпично-соломенное чучело, он непременно должен был кривляться, буйствовать, сквернословить. И даже, несмотря на февральский морозец, на виду у всей деревни то и дело заголяться... Так что голозадыхвостатый мотив в обрядах и фольклоре Масленицы устойчив и потому едва ли случаен.

Само по себе такое сочетание элементов погребальной обрядности со смехом, весельем, с пародийным переименованием похорон, по мнению исследователей, указывает на глубокую древность этого обычая: ведь некогда на тризне и впрямь звучал ритуальный смех. Но масленичное буйство и похабство – не только ритуальный смех шутовских похорон. Это смех, неразрывно связанный с эротикой. И он вполне вписывается в пронизывающую весь масленичный разгул брачно-эротическую символику.

Молодожёны были в центре масленичных действ. Они посещали дома своих родных и сами приглашали родителей к себе (“тёщины вечерки”, когда ездили “к тётце на блины”; “золовкины посиделки”), разъезжали на лихих тройках по деревне и за околицей, скатывались с ледяных гор. И непрестанно должны были выставлять на показ обоюдную свою любовь: они прилюдно целовались, их попарно с хохотом и солёными шуточками заикались в снег, приговаривая, что это так “рыжички на пост солят”. В Вятской губернии на Масленице устраивали “целовник” – парни ходили целовать молодушек. Кое-где к Масленице были приурочены своеобразные “ярмарки невест”: девушки на выданье красовались перед парнями, их родителями и свахами. Ряженые на Масленицу нередко играли в откровенно эротические игры. В масле-

ничных песнях заметен мотив порицания тех парней и девушек, кто до сих пор не успел вступить в брак. А на Украине таким привязывали к ноге “колодку” – обрубок полена, щепку, ленту, цветок – и не снимали, покуда те не откупятся деньгами, выпивкой или угощением.

Очевидно, все подобные действия (как и иные составившие Масленицу обряды) до принятия Русью христианства и до пришедшегося на раннюю весну Великого поста справлялись не в конце зимы, а чуть позже. Ими отмечали встречу тёплого сезона – весны и лета (которые вместе могли именоваться “тёплым летечком”). Надо было тогда матери-земле поскорее освободиться от снега, зазеленеть травую, подготовиться к ежегодной плодородной своей работе – выносить и уродить обильные плоды. И, согласно давним народным представлениям, брачно-эротические игрища и приговоры людей в эту пору должны были магически повлиять на пробуждение и раскрепощение природной плодородной силы.

Воплощением же человеческого плодородия-чадородия были девушки-невесты и молодые женщины. Оттого столь велика роль девок и молодых на Масленицу и в справлявшихся уже в Великий пост обрядах встречи принесивших весну птиц. Кстати, двусмысленное словечко *хвост* нередко звучало именно в адрес девушек и женщин. “Подбери хвост под платок!” – говорили им, увидев, что у них косы выбились из-под платка. О той, про которую шла дурная слава, судачили – у неё, дескать, *хвост запачкан*. *Бабьим хвостом*, по толкованию В.И. Даля, могли называть волокиту, бабьего угодника, прихвостня. Про такого говорили: “Бабьему хвосту нет посту”. И ещё: “У кого на уме молитва да пост, а у него бабь хвост”; “Научились шить долгие хвосты – позабыли великие посты”. Здесь, кстати, опять та же рифма “пост – хвост”.

Любопытно, что и репа в загадках постоянно сравнивается с девицей: “Красна, да не девка”; “Кругла, да не девка”; “Я красна, да не девица”; “Девушка в коробеечке, а коса – на коробеечке”. Иногда сходным образом характеризуется иная постная еда – редька и морковь. И наоборот: “Кругла девка, как репка”; “Хороша (девка), как мытая репка”. В 11-й главе первого тома “Мёртвых душ” Н.В. Гоголь пишет, что в прошлом, когда Чичиков служил на таможне, у него, по слухам, вышла ссора с другим чиновником “за какую-то бабёнку, свежую и крепкую, как ядрёная репа, по выражению таможенных чиновников”. А в 1-й главе второго тома, где речь идёт о деревенских девках, сравнение их с репками куда затейливее: “Трудно было сказать, которая лучше: все белогрудые, белшейные, у всех глаза репой, у всех глаза с поволокой, походка павлином и коса до пояса”. В Костромском крае во время обрядового обхода молодожёнов в “Радошно воскресень” (первое после Пасхи), под окнами у них ребятишки выкрикивали песенку, обращённую к молодой: “Редьку полола!..” Заканчивалась она так:

Сколь в поле камнёв –
 Столь тебе парнёв!
 Сколь в поле кочёк –
 Столь тебе дочек!

Все подобные сравнения репы и редьки с девкой и бабой-молодухой возможны еще и потому, что существительные *репа*, *редька* – женского рода, да и огородом в старой русской деревне занимались преимущественно женщины. Но главное, конечно, в традиционных обрядово-фольклорных ассоциациях: девка (баба) – хвост – репа (редька), с их общим эротическим подтекстом.

Также и кошка – животное, явно связанное в народных поверьях и присловьях с женской сферой: с хозяйкой и домашним очагом, с колыбелью и младенцем. “Кто кошек любит, будет жену любить”; “Кошку бьют, а невестке наветки дают”; “Кошка да баба в избе – мужик да собака на дворе”; “И то бывает, что кошка собаку съедает” (по В.И. Далю, это про жену и мужа). Кошка в загадках – “барыня”, а котик в колыбельных качает ребёнка.

Так что в скабрёзном масленичном контексте и блаженствующие, как сыр в масле, хвостатые кошки, и хвостатые репка с редькой особо отмечены ещё и по причине этой самой своей хвостатости. Примечательно, что в загадках комочек-клубочек репки мог быть прямо уподоблен свернувшейся клубком кошке:

Под кустиком,
 Под карандашком
 Лежит мурлышек
 С хвостиком.

Репу в загадках нередко сопоставляли по её цвету и с тем продуктом, который дал имя Масленице: “Желта, а не масло”; “Жёлто, а не масло”; “Не масло, а жёлтое”. А у западных славян (например, у хорватов и особенно у словенцев) репе вообще отводилось важное место в масленичные дни (Агапкина Т.А. О некоторых магических действиях в масленичной обрядности славян // Фольклор и этнографическая действительность / Отв. ред. А.К. Байбурин. СПб., 1992. С. 49, 51–52). Интересно, что типично масленичный сюжет – о том, как зять наказывает тещу – стал основой непристойной народной песни “Репка”, которая начинается так:

Посадил дед репку,
 Не густу, не редку...

Наконец, и сама Масленица, изображавшаяся в виде чучела в женском платье, сравнивалась с кошкой:

...Масленица-котофейка,
 Проводили тебя хорошенько!

А сибиряки на Масленицу сооружали ледяные катушки: верхняя площадка называлась *головой*, а продолжение ската, его пологая часть – *хвостом* (Макаренко А.А. Указ. соч. С. 94). На Вятке горку для масленичных катаний ладили из длиннющих шестов, которые после заливали водой. И знали, если кататься на длинных шестах, лен будет *долгим* (Вятский фольклор: Народный календарь. Котельнич, 1995. С. 118). Недаром Масленицу в песнях просили *продлиться, протянуться* – хоть на недельку, денёчек, часочек, минутку. Иные догуливали Масленицу и на первой неделе поста, про такое говорили: “Масляна широка – затопила Великий пост”. А ещё на Масленицу (как и в обрядах Великого поста) всю использовались веники: их жгли на кострах, ими увешивали масленичный выезд – цепляли их и к санной дуге, и к хвосту коня. В русских диалектах и в других славянских языках слова *хвост*, *хвостать* и однокоренные с ними обозначали прут, кончик кнута, веник, битьё, сеченье, хлестание баннным веником – и это, судя по всему, было первоначальным значением. Так что слово *хвост* исходно могло означать метёлку, веник – как у того сказочного зверя, что хвостом свой след заметал.

Долгая да широкая Масленица, разбитная бабёнка, гологузка и голохвостка, увешанная вениками и с хвостом ледовой горки – ещё бы ей самой не быть хвостатой! Как кошке и репке...

Вот так мерцают, клубятся и переплетаются в народной традиции различные образы и мотивы. И почти всегда за ними проглядывают глубинные смыслы, присущие отдалённой, ещё языческой, древности с её мифологическим мировидением.

Вятка



ТАКСИ

И.С. ЛРАПОВА,

кандидат филологических наук

Слово *такси* принадлежит к числу заимствований, вошедших в русский язык в XX веке. Из этимологических словарей русского языка оно рассматривается только у П.Я. Черных, где сообщается, что слово *такси* проникло в русский язык в советскую эпоху и фиксируется Словарем Вайсблита 1926 года. В качестве источника указываются основные европейские языки – французский, английский, немецкий, итальянский и испанский. Слово *taxi* возникло во французском языке как сокращение существительного *taximètre* “автоматический счетчик” > “наемный автомобиль, снабженный таким счетчиком, указывающим стоимость платы за проезд”. Относительно французского *taximètre* сообщается, что оно известно с 1904 года, когда этот автоматический счетчик был изобретен; название его «образовано на основе греческих слов *taxis* “строй”, “порядок”, “норма” и *metron* “мерило”, “мера”...» (Черных П.Я. Историко-этимологический словарь русского языка. М., 1993. Т. 2).

Датировку вхождения слова *такси* в русский язык можно уточнить. В дневнике А.А. Блока 1913 года (запись 1 января) сообщается о том, что он и его жена провели вечер у Аличковых и “...уехали в 3 часа но-

чи – опять, разумеется, в такси, подвезли Пяста...” (Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1990. Т. 7). Слово *разумеется* употреблено потому, что Блоки и приехали на такси: “Пообедав, мы с Любой поехали в таксоте к Аничковым” (там же). Примечания к дневникам, подготовленные Вл. Орловым, никак не комментируют это загадочное в *таксоте*. По-видимому, имеется в виду французское *taxi-auto* (буквально “такси-авто”). Наемные автомобили с шофером, перевозящие пассажиров за плату, появились в Петербурге. В журнале “Автомобиль” 1904 года (рекламы в конце журнала, без пагинации) читаем: “Знаменательно прогрессивное увеличение извозчиков-автомобилей, которых теперь можно встретить повсюду даже ночью”. Но слова *такси* в русских текстах пока еще нет. Тот же журнал “Автомобиль” (1907. № 7) сообщает: “Новое Автомобильное общество выпустило также немалое количество автомобилей для общественных нужд; так, например, в одном Берлине находятся в движении более сотни дрожек и омнибусов N.A.G.”. Под дрожками, по-видимому, подразумеваются такси, а под омнибусами – автобусы.

Слово *такси* мы находим также у Мариэтты Шагинян в ее “Приключениях дамы из общества” (1923 г.). Но В.Д. Набоков (отец писателя) в книге “Из воюющей Англии” (1916) писал о прибытии в Париж: «Выйдя вслед за носильщиками на улицу и дождавшись “taxi”, мы поехали...». Стало быть, время между 1913 годом, когда мы впервые находим это слово в русском тексте (у Блока), и 1926, когда оно зафиксировано Полным иллюстрированным словарем иностранных слов И.В. Вайсблита, было периодом его освоения. Были и возражения против него: так, слово *тэкси* в журнале “Русский современник” (1924. № 2) включено в перечень неоправданных англицизмов, допущенных Б. Пильняком в его “Английских рассказах” (но, может быть, это касается только формы слова с э вместо а).

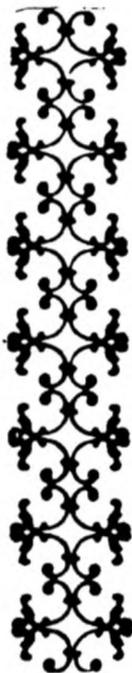
Стоит отметить также то, что первоначально существительное *такси* было мужского рода: “...крытый такси” (Зенкевич М.А. Мужичкий сфинкс): «...наш ленинградский “такси”» (Наука и техника. 1930. № 61). Но уже в Толковом словаре под ред. Д.Н. Ушакова оно среднего рода (М., 1935–40. Т. 4).

Что касается источника заимствования, то трудно удовлетвориться обобщающим “из западноевропейских языков”, как это делает П.Я. Черных. Для периода с 1913 по 1926 годы вряд ли это был испанский язык, да и шансы итальянского в данном вопросе малы. В немецком и английском языках ударение на первом слоге; к тому же английское слово произносится как *тэкси*. Французский язык остается самым вероятным источником заимствования, тем более, что ряд “автомобильных” слов пришел именно оттуда (*автo* с ударением на последнем слоге, *га-раж*, *шофёр* и др.).

Итак, *такси* получило свое название от автоматического счетчика,

который по-французски называется *taximètre*, а по-немецки *Taxameter*. Из немецкого языка оно было заимствовано в русский язык в начале XX века и в форме *таксаметр* (согласно семнадцатитомному Словарю современного русского литературного языка) впервые зафиксировано в Большой энциклопедии Южакова 1903 года. Более привычная нам форма *таксометр* (по указанному словарю) отмечается в Энциклопедическом Словаре Граната, но ее можно найти и раньше, в книге Сазерак-де-Форжа “Человек стал летать!” (1910 г.): “Аэробус – воздушный омнибус; таксоплан – аэроплан с таксометром”. Немецкое *Taxameter* образовано от *Taxe* “такса, цена” и элемента *-meter*. В русском языке была известна и “французская” форма этого слова – *таксиметр*. Мы находим ее в Словаре иностранных слов Головкина (1914 г.). “Таксомотор – автомобиль с таксиметром”.

Итак, еще одно слово в этом лексическом кругу – *таксомотор*. Оно значит то же, что такси, и употреблялось наравне с ним. Так, А.А. Блок пишет матери 12 августа 1913 года: “Магазины закрывались, и мы поехали в вонючем таксомоторе в Версаль”. Мы находим это слово в журнале “Автомобиль и воздухоплавание” (1911. № 2). С первого взгляда *таксомотор* – заимствование. Но ни в немецком, ни в английском, ни во французском языке такого слова нет. Отсутствует указание на заимствованный характер этого слова и в Толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова. По-видимому, оно возникло на русской почве и образовано сложением основы слова *такса* (и под влиянием слова *таксометр*) и *мотор* в ныне устаревшем, но в первой четверти XX века вполне актуальном значении “автомобиль”.



О “спортивных” словах

ГОЛ

М.Н. ЛУКАШЕВ

Как-то в одной из центральных газет в небольшой заметке о футболе было десять раз употреблено выражение *забить мяч в ворота* и ни разу – *забить гол*. Что это – небрежность или недосмотр редактора? Ни то и ни другое. Здесь отразилась старая спортивно-языковая проблема, которая и сейчас порой вызывает споры.

Еще лет двадцать пять назад спортивные журналисты, специализировавшиеся на футболе, с досадой сказали бы: «Пишут вот “забил гол”, а ведь в действительности забить “гол” просто-напросто невозможно!». В подтверждение этому приведу пример шестидесятилетней давности из репортажа Валентина Катаева о матче сборных СССР и Турции: «...ринутся в стремительное нападение, атакуя ослабленный гол про-

тивника”; “Наш гол под адским огнем”. Ветераны и любители футбола отлично помнят, как сами когда-то говорили: *Встать в гол, Бей по голу!, Игра в один гол.*

Во всех этих случаях *гол* использовался как синоним слова *ворота*. Так оно и было в действительности, но это вовсе не значит, что английское слово *гол* (*goal*) полностью эквивалентно русскому – *ворота*. В английском языке *гейт* (*gate*) – “ворота, вход” – имеет не футбольный, а, так сказать, спортивно-коммерческий смысл и означает: количество зрителей, денежный сбор на состязаниях и выставках. А вот *гол* – это “цель, задача”, “место назначения” и еще теперь уже устаревшее: “мета, отметка”, а та небольшая часть пространства футбольного поля, куда нужно отправить мяч для получения выигрышного очка – позднее значение.

Такое расхождение прямых значений английского оригинала и его русского спортивного эквивалента можно объяснить тем, что сооружение из двух боковых штанг, верхней перекладины и сетки появилось на футбольном поле сравнительно недавно: лишь в прошлом веке. Футбол же существовал в течение нескольких столетий, и когда появились основы футбольной терминологии, никаких “ворот” не было и в помине, была лишь “цель”, “мета”, “гол”, т.е. место, куда нужно было загнать мяч.

В Россию футбол пришел в самом конце прошлого века уже почти в современном виде, и, естественно, что “гол” – пространство, ограниченное штангами и сеткой, сразу же по внешнему сходству стали называть *воротами*. Поначалу, впрочем, по аналогии с некоторыми народными играми пытались называть гол – *городом*. Но английская терминология держалась очень прочно, и даже русское слово *ворота* долгое время было, своего рода, сниженным стилем: только для не очень умелых любителей. Квалифицированные специалисты говорили и писали: *гол*.

Наши толковые словари и словари иностранных слов вплоть до начала пятидесятых годов определяли значение этого слова, во-первых, как синоним *ворота*; во-вторых, как положение, когда мяч оказывается в воротах, т.е. взятие ворот противника, и, в-третьих, как очко, которое за это начисляется команде.

И только лишь в середине пятидесятых первое из указанных значений получило словарную пометку – “устаревшее”. Думаю, что сделано это было, как неизбежно случается в работе со словарями, со значительным опозданием. Уже в конце тридцатых годов, когда мы мальчишками гоняли в футбол, было только слово *ворота*. А выкрик в азарте борьбы: *Бей по голу!* воспринимали только в смысле: “Бей так, чтобы забить гол”.

Вот и подошли мы к этим “однозным” словам, и теперь достаточно ясно, что, имея в виду точный смысл слова *гол* как в английском, так и

в русском языке, забить его действительно было никак нельзя. Это и вызывало у спортивных журналистов серьезные сомнения в правомерности уже широко распространившегося выражения *забить гол*. Одни считали, что так писать нельзя, а можно только: *забить мяч*. Другие говорили, что забить три мяча в ворота соперника тоже невозможно, так как мяч в игре один и тот же. Взамен спорного выражения *забил гол игрок такой-то* даже появилась сомнительная находка: *автор гола*.

Кто же прав в этом явно затянувшемся споре? Что является правильным с точки зрения норм русского языка? Исходя из формальной логики, казалось бы, выражение это бессмысленное и неправильное, так как очевидно, что "гол" как таковой забить нельзя. Однако у языка есть своя собственная, часто отличающаяся от формальной, логика. Давайте вспомним, сколько раз в день мы употребляем такую фразу – *вскипяти чайник* или – *я читаю Достоевского*. А ведь и здесь можно говорить об очевидной нелогичности, так как кипит не сам чайник, а залитая в него вода. И читают не Достоевского, а его произведение. Здесь мы, сами того не осознавая, используем один из приемов стилистики, употребляя вместо одного слова другое, но имеющее с первым вещественную связь. В нашем случае замена нейтрального и маловыразительного *мяч* на *гол* придает всему выражению большую эмоциональность.

В современных словарях *гол* приводится с новым и старым значениями, а также даются примеры его употребления: "1. *Устар.* Ворота, отгороженный участок поля (...) 2. Очко, выигранное командой при забивании мяча в чужие ворота. **Забить гол** – ввести, забить мяч в ворота противника" (Словарь русского языка. В 4 т. М., 1981. Т. I); "...В футболе и сходных командных играх: очко, выигрываемое после попадания мяча (шайбы) в ворота соперника, а также само такое попадание. *Забить гол*" (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992).

За знакомой строкой

“Крученые паньчи, пидкрапивники...”

З.А. НОСКОВА,

кандидат филологических наук

В сферу лесковской “игры со словом”, о которой уже написано немало, порой вовлекается украинская лексика и фразеология. Объединение двух близкородственных по происхождению лексических систем в качестве арсенала для создания образа не только расширяет возможности поиска самого необходимого, попадающего в цель слова, но и порождает новые загадки для читателя, особенно современного.

У каждого текста свой “аромат эпохи” – свои особенности передачи времени и места событий.

Один из так называемых “рассказов кстати” Н.С. Лескова “Старинные психопаты” посвящен “героическому” малороссийскому преданию о пане Вишневском и “его сродниках” из Полтавской губернии. Лесков хорошо знал Украину и, будучи человеком, выросшим в другой среде, острее чувствовал разницу между великороссийским и малороссийским бытом, нравами, обычаями и мастерски воссоздавал в своих произведениях украинский колорит. Для этого использовались различные средства: фонетическая запись украинской речи, цитирование стихов и песен, подробное, даже любовное описание украинского быта, этнографических особенностей, черт характера. При этом писатель, как всегда, был легок и ироничен: “У Вишневского был и патриотизм, выражавшийся, впрочем, à la longue пристрастием к малороссийскому жупану и к малороссийской речи...” (Лесков Н.С. Собр. соч.: В 12 т. М., 1989. Т. 7). Здесь следует заметить, что, хотя Н.С. Лесков и с иронией говорил о романтизме малороссийских писателей при воспроизведении жизни малороссийского козырного барства, ему самому этого тоже избежать не удалось.

От того времени, когда писал Лесков, нас отделяет более века, а от событий рассказа – еще более длительное время, поэтому современному читателю, к тому же не владеющему украинским языком, весьма затруднительно воспринимать текст без комментария. Пояснения, которыми снабжен текст, оказывают немалую помощь, хотя, к сожалению, они не всегда достаточно полны, а иногда могут оказать и “медвежью услугу”, хотя стоит признать, что комментаторы находились в сложном положении: и русский, и украинский языки за столь долгий срок изменились, и словари не всегда фиксировали эти изменения.

В главах с десятой по тринадцатую “Старинных психопатов” заключен рассказ о нравах малороссийского подьячества. Речь идет о происшествии, случившемся в городе Пирятине, – стычке между драгунами и двумя молодыми приказными. От скуки, после изрядной дозы выпитого, драгуны, желая подражать заезжему жонглеру, стали бросать вилки в портрет лица, которое, по представлению хозяина, “могло напоминать посетителям его заведения об уважении к законам благочиния”. Свидетелями этого стали два “судовых паныча”, которых до этого офицеры загнали под стол, так как, “считая себя на равной ноге, как аборигены, они начали проявлять свой характер”. И обиженные решили отомстить – донесли обо всем случившемся городничему. Но пан Вишневский не был бы героем предания, если бы не вмешался в это дело и не попытался запугать панычей: “... вас двое, а их шесть, и вам не выкрутиться. Притом они вас знатнее... Они благородные дворяне, а вы что такое? – Яки-сь крученые панычи, пидкрапивники”. Комментарий к этим словам следующий: “... крученые панычи, пидкрапивники ... – название растений. Крученый – ветреный, забияка” (Лесков Н.С. Указ. соч. С. 455). Помогает ли читателю это разъяснение? Наоборот, он введен в заблуждение! В русском языке есть слово *подкрапивник* (*крапивник*), но оно обозначает птицу (Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М. – Л., 1960. Т. 10), как и слово *подкрапивница* (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1980. Т. III). В “Словаре української мови” Б.Д. Гринченко слово *підкропивниця* действительно обозначает растение. Но вряд ли все становится понятным. А подсказка есть в самом тексте: “Да и чего они больше стоят – это крапивное семя, взяточники”. *Крапивное семя* в современном русском языке – устаревший фразеологический оборот, обозначающий “презрительное прозвище приказных и подьячих, а затем чиновников-взяточников и крючкотворов (Словарь современного русского литературного языка. Т. 5). В.В. Виноградов относил это выражение к числу фразеологических единств с переосмысленной внутренней формой (Виноградов В.В. Избранные труды: Лексикология и лексикография. М., 1977). Он писал, что ходячее в русском литературном языке XVIII и XIX веков выражение *крапивное семя* обозначало приказных крючкотворцев, чиновников. О *крапивном семени* писал А.П. Сумароков, прибежал к этим словам М.Н. Загоскин, описывая времена Екатерины II, употреблял это выражение в своих пьесах А.Н. Островский. Откуда оно пошло, было не очень ясным еще в начале XIX века. Но, по словам В.В. Виноградова, “его резкая презрительная окраска гармонировала с теми пренебрежительными контекстами, в которых употреблялось слово *крапива* в переносном значении. Л. Толстой, – пишет В.В. Виноградов, – выразил предположение, что чиновники получили прозвище крапивного семени из-за зеленого цвета мундира. Но едва ли в этом была суть иронии” (Виноградов В.В. Указ. соч.).

А дело, скорее всего, в том, что в русских народных говорах слова *крапивник*, *крапивница* относятся не только к растениям и птицам, как в литературном языке, но обозначают также внебрачного ребенка, как и прилагательное *крапивный* (Словарь русских народных говоров. Л., 1979. Вып. 15); так же толкует это слово В.И. Даль. Обращение к более древней эпохе (конец XVII в.) убеждает, что первоначально выражение *крапивное семя* было презрительным эпитетом, применяемым к людям не родовитым (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1981. Вып. 8): “В те поры смердя мужики крапивные семена услышали и за кумом моим волком погнались” (Сказ о куре и лисице, 199. XVIII в. ~ XVII в.). В.В. Виноградов объяснял это тем, что крестьянки внебрачных детей часто подкидывали в крапиву, и приводил областное выражение *скакать в крапиву* – “вступать в половую связь, вести разгульную жизнь” (Виноградов В.В. Указ. соч.).

Таким образом, можно предположить, что слово *пидкрапивник* употреблено Лесковым в качестве синонима к фразеологическому обороту *крапивное семя*, скорее всего, в первоначальном значении “люди не родовитые” для усиления противопоставления приказных благородным дворянам (или слово совмещает в себе данное значение с более поздним – “приказные крючки”).

Словосочетание же *крученые паньчи* является устойчивым в украинском языке и действительно обозначает растение *Spartaea purpurea* (Словник української мови: В 11 т. Київ, 1973. Т. 4). Но в тексте Лесков, очевидно, обыграл данное выражение и использовал его как свободное: слово *паньчи* употреблено в прямом значении, а прилагательное *крученые* – в переносном. В данном контексте *крученый*, скорее всего, “глухой, придурковатый” – такое значение приводит “Словник української мови”.

Рассказ о судьбе всего двух выражений у Лескова еще раз напоминает о хрупкости живого полотна произведения. Очевидно, надо более бережно подходить к анализу слов, кажущихся на первый взгляд ввиду их общего славянского или древнерусского происхождения понятными. При этом обязательной должна стать соотнесенность текста с той культурно-исторической средой, которая нашла отражение в произведении.

Луганск



Подлежащее? Сказуемое?

О.М. ЧУПАШЕВА,

кандидат филологических наук

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения, образующие грамматическую основу, без них не может быть предложения. Различают их, как и другие члены предложения, прежде всего по вопросам: *кто? что?* – вопросы подлежащего, *что делает предмет? что с ним происходит? каков он? что он такое? кто он такой?* – вопросы сказуемого (Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. Учебник для 8 класса средней школы. М., Просвещение, 1993. С. 51). Легко распознаются члены предложения в тех случаях, ко-

гда они выражены “предназначенными” для них частями речи – такие члены предложения называются морфологизованными. Так, морфологизованными являются подлежащие, выраженные существительными, например, *цветы* в предложении *И на мусоре цветы Красотой своей гордятся* (В. Федоров). Морфологизованное сказуемое представлено глаголом в спрягаемой (то есть в изменяемой) форме: *гордятся* в приведенном выше предложении. Вместе с тем нередко члены предложения выражаются другими частями речи, их называют неморфологизованными. Неморфологизованные, например, подлежащие, выраженные междометиями *пожалуйста, спасибо* в пословице “*Пожалуйста*” не кланяется, а “*спасибо*” спины не гнет. Неморфологизованное сказуемое, выраженное кратким прилагательным *поразительны*, в предложении *Аккуратность, точность, дисциплинированность и вежливость* [японцев. – О. Ч.] *поразительны* (А. Эфрос).

Если хотя бы один из главных членов предложения неморфологизованный, возникают затруднения в его грамматическом анализе: грамматическая основа, как правило, устанавливается правильно, но “распределение ролей” внутри неё производится не всегда безошибочно. Это касается прежде всего тех случаев, когда оба главных члена выражены именами существительными в именительном падеже, то есть при неморфологизованном сказуемом. Способы разграничения главных членов предложения и рассматриваются в данной статье.

Сразу заметим, что, разграничивая главные члены, не следует ориентироваться на порядок слов в предложении, так как он определяет иное явление – членение на известное и новое (это называют коммуникативным аспектом предложения). В начале предложения, на первом месте, при прямом порядке слов бывает известное, или данное, а в конце предложения, на втором месте, – неизвестное, или новое. В науке эти элементы называют *темой* и *ремой*. Сведения о них предлагаются в школе (см., например: Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. Учебник для 8 класса средней школы. С. 44; Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. Учебник для 5–9 классов общеобразовательных учебных заведений. М., Просвещение, 1992. С. 172). Впрочем, вводятся и сами термины *данное* и *новое* (Разумовская М.М., Львова С.И., Богданова Г.А. и др. Русский язык. Учебное пособие для 5 класса общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 1996. С. 317).

При определении подлежащего и сказуемого, выраженных именами существительными в именительном падеже, надо опираться на следующие особенности.

Как известно, без глагола нет сказуемого – ни глагольного, ни именного. В именном сказуемом глагол представлен связкой, выраженной словесно или нулевой. *Я буду студентом* – в составном именном сказуемом *буду студентом* связка выражена словесно (*буду*). *Я студент*

– в составном именном сказуемом *студент* связка нулевая (не пропущенная!). Нулевая связка проявляется в ряду словесно представленных связок, ср.: *Я студент. – Я был студент. Я буду студент; Деревья зеленые. – Деревья были зеленые. Деревья будут зеленые.* В первых предложениях каждой группы есть нулевая связка.

Сказуемое согласуется с подлежащим, на эту особенность указывают и некоторые школьные учебники: сказуемое “...обычно согласуется с подлежащим...” (Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. *Русский язык. Учебник для 8 класса средней школы.* С. 51). Согласование осуществляется через глагол: существительное по своим грамматическим особенностям не относится к согласуемым словам. Следовательно, форму глагола-связки, словесно выраженной, “диктует” подлежащее. *Песня была мое счастье.* Связка *была* в женском роде, она согласуется с существительным женского рода *песня* (существительное *счастье* – среднего рода), которое и является подлежащим; сказуемое *была счастье*. Значит, подлежащее и сказуемое разграничиваются по согласованию.

Если в грамматической основе нулевая связка, то главные члены разграничиваются с помощью других способов.

Известно, что позицию подлежащего может занимать существительное только в именительном падеже, позицию же сказуемого – существительное и в именительном, и в творительном падежах (так называемый творительный предикативный). Принимая во внимание эту особенность, для разграничения подлежащего и сказуемого можно производить преобразования предложений, в результате которых один из именительных падежей существительных заменится творительным, которое (существительное) и является сказуемым. Для этой цели лучше всего вводить в предложение связку *являться*. Например: *А книга – хороший способ встречаться на расстоянии* (А. Эфрос). – *А книга является хорошим способом...* (невозможно: *Хороший способ... является книгой*), значит, *книга* – подлежащее, *способ* – сказуемое. Аналогично: *Их [аспирантов. – О.Ч.] специальность – русская литература* (А. Эфрос). – *Русская литература является их специальностью; литература* – подлежащее, *специальность* – сказуемое. Обратим внимание на то, что в этом предложении сказуемое предшествует подлежащему.

Подлежащее и сказуемое связаны не только грамматически, но и по смыслу. Смысловая связь заключается в том, что подлежащее, будучи определяемым словом, х а р а к т е р и з у е т с я сказуемым, сказуемое определяет подлежащее. Об этом важно помнить, анализируя предложения с грамматической основой, состоящей из существительного – имени собственного и существительного нарицательного. Существительные собственные по своей лексико-грамматической природе не способны определять что-либо, они могут лишь определяться, хара-

ктеризоваться, например, существительными нарицательными, следовательно, грамматические роли в данном случае распределяются так: существительное собственное является подлежащим, а нарицательное – сказуемым, опять-таки независимо от порядка их расположения в предложении. Примеры: *Для меня Мольер – страдалец...* (А. Эфрос); *...Лучший исполнитель – Олег Даль* (А. Эфрос) – подлежащие – *Мольер, Олег Даль*, а сказуемые – *страдалец, исполнитель*.

При разграничении главных членов необходимо учитывать и тот факт, что подлежащее, как определяемый компонент грамматической основы, имеет более конкретное значение в отличие от сказуемого, компонента определяющего, характеризующегося более общим, отвлеченным значением, ср.: *Сон – отражение жизни* (В. Федоров). *Сон* – подлежащее, *отражение* – сказуемое. *А основа тут – мироощущение Гамлета* (А. Эфрос). *Мироощущение* – подлежащее, *основа* – сказуемое. Интересно в связи со сказанным предложение *Ведь не каждый поэт – поэт* (А. Эфрос). Грамматическая основа – *поэт – поэт*, однако при первом существительном есть “конкретизатор” – местоимение *каждый*, при втором таковое отсутствует, это дает основание утверждать, что первое существительное более конкретное по сравнению со вторым, оно и будет подлежащим, а второе существительное *поэт* – сказуемое.

Основываясь на том же положении, что сказуемое в отличие от подлежащего – характеризующее слово, можно правильно проанализировать грамматическую основу, где одно из существительных имеет оценочное значение, – оно и выступает в предложении как сказуемое, а не оценочное существительное – как подлежащее. Например: *Без науки человек – зверь* (А. Лосев). Существительное *зверь* в данном контексте употреблено в переносном значении – “жестокий, свирепый человек” (С.И. Ожегов. Словарь русского языка). Яркая отрицательная окраска этого слова позволяет расценить его как сказуемое. Существительное *человек*, как характеризуемое, выступает в роли подлежащего. Аналогично: *Эта пьеса [“Гамлет”. – О.Ч.] – как бы разложенная во времени совесть* (А. Эфрос). *Пьеса – совесть* – грамматическая основа, в которой оценочное существительное *совесть* – сказуемое, а подлежащее – *пьеса*.

В некоторых предложениях оценочность сказуемого создается зависимыми от него определениями, ср.: *Наука – великое достижение* (А. Лосев). Определение *великое*, то есть “превосходящее общий уровень, обычную меру, значение, выдающийся” (С.И. Ожегов. Словарь русского языка), при существительном *достижение* качественно характеризует его, следовательно, *достижение* – сказуемое, а *наука* – подлежащее.

В предложении с анализируемой грамматической основой нередко используется слово *это*, непосредственно влияющее на членение осно-

вы: именно то существительное в именительном падеже, при котором находится данное слово, является сказуемым, следовательно другое существительное в им. падеже – подлежащее. Например, в предложении *Каждый отдельный человек – это тоже космос* (из газеты) *это* использовано с существительным *космос*, которое и будет сказуемым, а *человек* – подлежащим. Аналогично: *Театр – это веселая, дружная игра, дружная игра при серьезном смысле* (А. Эфрос). *Театр* является подлежащим, *игра* – сказуемым. Заметим, что *это* может быть не только в середине, но и в начале предложения: *Это простая, но великая вещь – умение сосредоточиться на работе* (А. Эфрос). Показатель сказуемого *это* при существительном *вещь*, оно и является сказуемым, а *умение* – подлежащее.

Это – яркий сигнал позиции сказуемого, даже для существительного собственного в грамматической основе существительное собственное + существительное нарицательное. Например: *Художник, который никогда не умел рисовать, но который рисует хорошо, – это Ренуар* (А. Эфрос) – подлежащее – *художник*, сказуемое – *Ренуар*.

Проанализируем такое предложение: *Истинное счастье – это прежде всего удел знающих, удел ищущих и мечтателей* (К. Паустовский). В грамматической основе *счастье* – оценочное существительное, употребленное к тому же с оценочным качественным определением *истинное*, а существительное *удел* не имеет таких характеристик. Однако *это* позволяет расценить именно *удел* как сказуемое, а *счастье* как подлежащее.

Отметим, что встречается немало предложений с главными членами, выраженными существительными в именительном падеже, которые разграничиваются не по одному, а по комплексу перечисленных признаков. Рассмотрим предложение *Идущее время – жестокая вещь* (А. Эфрос). Грамматическая основа *время – вещь*. Первое существительное имеет конкретное значение, второе – отвлеченное. Кроме того, в сочетании с определением-прилагательным *жестокая* оно приобретает оценочность. По этим двум признакам устанавливаем, что *время* – подлежащее, *вещь* – сказуемое. Еще предложение: *Ведь Мольер – большой хитрец* (А. Эфрос). Грамматическая основа *Мольер – хитрец*, где первое существительное – собственное, второе – нарицательное; добавим к тому же, что *хитрец* имеет яркую оценочность. Следовательно, грамматические роли распределяются следующим образом: *Мольер* – подлежащее, *хитрец* – сказуемое. Но, как было показано, достаточно одного признака, чтобы определить то или иное существительное в им. падеже подлежащим или сказуемым.

Выше проанализированы предложения, в которых подлежащее и сказуемое, представленные существительными в им. падеже, распознаются по одному или нескольким характеристикам. Вместе с тем обнаружены предложения с аналогичной грамматической основой, где под-

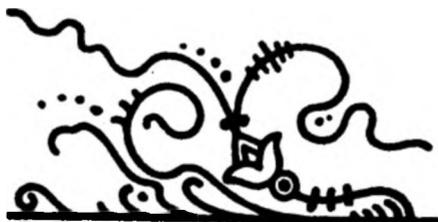
лежащее и сказуемое не различаются ни по одному из признаков. Таково, например, предложение *Профессия есть профессия* (А. Эфрос). Причина заключается в том, что каждое из существительных может быть расценено и как подлежащее и как сказуемое в силу совмещения этих грамматических значений в каждом компоненте.

Подведем итоги. Подлежащее и сказуемое в предложениях с грамматической основой *существительное в им. пад. + существительное в им. пад.* разграничиваются с учетом грамматических связей (по согласованию), путем преобразований (замена именительного падежа творительным), по особенностям грамматического или лексического значения этих существительных (существительное собственное / нарицательное, наличие / отсутствие оценочной характеристики у существительного), по особенностям их “окружения” (наличие / отсутствие оценочных, качественных определений при анализируемых членах предложения, наличие / отсутствие слова *это* при том или ином существительном). При этом главные члены могут быть отмечены как одним, так и несколькими характеристиками. Наряду с тем имеются предложения, где эти приемы не “срабатывают”, ибо каждый член грамматической основы совмещает в себе признаки и подлежащего, и сказуемого.

В заключение – упражнение для самостоятельной работы: определите подлежащее и сказуемое в предложениях.

1) Театр – невероятно двойственное учреждение (А. Эфрос). 2) Гамлет там – молодой человек с жесткими глазами и резко очерченными скулами (А. Эфрос). 3) Искусство, повторяю, – волшебство! (А. Эфрос). 4) Радость – это всегда лекарство (из газеты). 5) Стереотип – мертвая материя... (А. Эфрос). 6) Действие [театральное. – *О. Ч.*] – такой крючок, на который должно нанизываться всё (А. Эфрос). 7) Сложное это дело – театр (А. Эфрос). 8) Такт и деликатность [японцев. – *О. Ч.*] – тоже глубоко национальная черта (А. Эфрос). 9) А мастерство, разумеется, вещь полезная (А. Эфрос). 10) ...Собака – замечательное животное... (А. Эфрос). 11) Каждая моя книга – это собрание многих людей разных возрастов, национальностей, занятий, характеров и поступков (К. Паустовский). 12) Иванова была конструктор.

Мурманск



Еще об ударении в слове *йогурт*

Н.А. ЕСТЬКОВА,
кандидат филологических наук

Заметка Л.П. Крысина (Русская речь. 1998. № 1) представляет несомненный интерес в связи с работой по уточнению рекомендаций "Орфоэпического словаря русского языка". Соображения в пользу признания нормативным варианта *йогурт* безусловно заслуживают внимания. Но материал Л.П. Крысина, не дающий полной картины функционирования в русском языке заимствования, восходящего к тюркскому *yogurt*, нуждается в дополнении и некотором уточнении.

Лежит на поверхности широкое распространение в речи ударения *йогурт* и игнорирование его до недавнего времени в нормативных словарях (рекомендовавших: *йогурт*). В последние годы рекомендации меняются.

В трех словарях, вышедших в 1995 году, признаются нормативными два варианта ударения.

Т.Г. Музрукова, И.В. Нечаева. Краткий словарь иностранных слов. М., "Русский язык": *йогурт*.

Эрудит. Толково-этимологический словарь иностранных слов. М., "Школа-Пресс": *йогурт*, *йогурт*.

Краткий словарь современных понятий и терминов. Изд. 2-е. М., "Республика": *йогурт*, *йогурт*.

В двух словарях 1977 года – в 4-м издании "Толкового словаря русского языка" С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой и в словаре "Иностранные слова и выражения" Н.Г. Комлева (М., "Современник", серия "Словари школьника") дается только вариант *йогурт*.

Такая же рекомендация содержится в двух словарях Л.П. Крысина, вышедших в издательстве "Русский язык": в "Школьном словаре иностранных слов" (1997) и "Толковом словаре иноязычных слов" (1998).

Из словарей последних лет лишь один рекомендует ударение

йогурт (“Словарь трудностей русского произношения” М.Л. Каленчук и Р.Ф. Касаткиной. “Русский язык”, 1997).

Необходимо внести уточнения в сообщаемые Л.П. Крысиным сведения о первой словарной фиксации слова, переданного средствами русского письма как *йогурт*. Впервые оно зафиксировано – с ударением на втором слоге – в словаре “Новые слова и значения” 1971 года (в дальнейшем НС). Значение этого слова определено так: “Кисломолочный. продукт, по консистенции напоминающий заварной сливочный крем”. Источник – два газетных примера 60-х годов.

Слово *йогурт* было включено в вышедшее вскоре 13-е издание Орфографического словаря (1974), в Грамматический словарь А.А. Зализняка (1977), а затем в Орфоэпический словарь (1983 и все последующие издания) и в 5-е издание Словаря ударений для работников радио и телевидения Ф.Л. Агеенко и М.В. Зарвы (1984, а также его “трансформация” под названием “Словарь ударений русского языка”, 1993).

Однако эти словарные фиксации отражают не первое появление в русском языке слова, восходящего к тюркскому *yogurt*. Многими годами раньше Словарь иностранных слов зафиксировал это тюркское заимствование в виде *югурт* (1937, на основании ссылки в Б – “большом” академическом словаре, т. 17, 1965; в этом последнем слово проиллюстрировано примером из “Первых радостей” Федина, отражающим “реалию” начала века). Словарь Ушакова (т. 4, 1940) дает два варианта – *югурт* и *ягурт*. А в 6-м издании Словаря иностранных слов (1964) фигурирует вариант, очень близкий к обсуждаемому – *йогурт*.

В словаре Ушакова *югурт* (*ягурт*) определяется как “болгарское кислое молоко”; в Б добавлено: “применяемое как диетическое средство”. Речь, таким образом, идет тоже о кисломолочном продукте, но отличном от того, о котором говорится в словаре НС.

Речь несомненно идет о п о в т о р н о м вхождении в русский язык слова, восходящего к тюркскому *yogurt*, в другом письменном облике и для обозначения не вполне той же “реалии” (хотя тоже кисломолочно-го продукта). Из газетных примеров, приведенных в НС, можно понять, что речь идет о новом продукте, осваиваемом нашей молочной промышленностью. Но в те годы ни этот продукт, ни называющее его слово *йогурт* не были широко известны.

Широкое распространение того и другого (и “реалии”, и слова) связано с “новой экономической эпохой”. Этот кисломолочный продукт (преимущественно с фруктовыми добавками) сейчас воспринимается как пришедший с Запада. А последние словари стали и само слово, хотя и несомненно первоначально тюркского происхождения, соотносить с английским источником. Л.П. Крысин связывает именно с этим преобладание ударения на первом слоге.

Мне представляется, однако, что широкое распространение ударения *йогурт* в большей степени определяется иным обстоятельством.

Думаю, что такое ударение “провоцируется” написанием *йо*, представляющим собой отклонение от “нормальной” графической передачи русских слов.

Как известно, в русской графике сочетания “j + гласная” передаются буквами *е, ё, ю, я*. Написание *йо* представлено в заимствованиях, в частности в немногочисленных словах с начальным *йо* (кроме слова *йод* и производных, “экзотичных” или специальных: *йога, йомен, йоркшир, йот, йотация*). Произношение сочетания *йо* в неударном положении вызывает затруднение: необычный облик “провоцирует” что-то вроде “оканья”, и это произносительное затруднение способствует переносу ударения на начало слова. Так произошло со словом *йогурт*, когда оно стало широкоупотребительным.

Решая вопрос об акцентной норме для этого слова, трудно не считаться с широким распространением ударения *йогурт*. В то же время ударение на первом слоге вступает в противоречие с явно ощущаемым “тюркским” характером слова. Надо признать неудачным его письменное оформление при вторичном заимствовании. Старые письменные варианты *югурт, ягурт* (а также написание *егурт*, зафиксированное в романе В. Набокова “Пнин”), не отклоняющиеся от основных правил русской графики, не “провоцируют” перенос ударения на начальный слог. Видимо, оптимальным решением было бы изменение написания слова (предпочтителен вариант *егурт*) при сохранении в качестве нормативного ударения на втором слоге.

Выдвигая это “предложение”, автор в полной мере отдает себе отчет в его нереалистичности...

**Русская словесность –
в сети Интернет:
новый полезный сайт**

Общество любителей российской словесности, основанное в 1811 году и возрожденное при содействии Д.С. Лихачева в 1992 году, сообщает всем друзьям русского языка, классической и современной литературы, лингвистики и литературоведения об открытии своего веб-сайта по адресу:

WWW.LGG.RU/~SLOVO

Посетителей ждет масса полезной информации:

- история Общества и аннотированная летопись его заседаний;
- приглашения на очередные заседания Общества;
- наиболее интересные диссертации по филологическим наукам;
- история русских слов и выражений;
- происхождение русских фамилий (дополнительно – возможность заказать красочный пергаментный диплом с подробным рассказом об истории интересующей фамилии);
- действующее законодательство, касающееся лингвистических и социолингвистических проблем – от “Закона о языках народов РФ” до “Закона Москвы о наименовании территориальных единиц, улиц и станций метро”;
- материалы к 200-летию А.С. Пушкина (включая информацию о готовящихся конференциях и конкурсах);
- заметки и виртуальные пособия для учителей и школьников (например, русская грамматика в стихах – для начальных школ);
- материалы известного научно-популярного журнала “Русская речь”;
- информация о конкурсе “Не говори шершавым языком” (посвящен нарушению норм русской речи в СМИ и проводится Обществом совместно с Союзом журналистов России);
- около ста ссылок на полезные филологические сайты и многое другое.

Специалисты уже по достоинству оценили представленный на сайте ОЛРС список тематических ссылок-линков – один из самых больших в мире!

Руководитель проекта – вице-президент ОЛРС Михаил Горбаневский, ученый, доктор филологических наук, журналист, издатель. Веб-мастер Олег Иваненко.